

КАЦЕТНИК 11 37 72

Дом кукол

Повесть

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ — «ОР-ПРЕСС»-ЛТД,
ул. Гиват-Герцль, 113, Тель-Авив»

Перевод с иврита
ИЗРАИЛЯ МИНЦА
Редактор ЕЛЕНА КЛАПОУХ
Корректор МАЙЯ ВОЛЬДМАН
Художник ЛЕВ ЛАРСКИЙ
©

БИБЛИОТЕКА
ДАНИЭЛЯ АМАРИЛИСА

????? ?"?.?.???"? ??, 258633 ??-????

OCR Титиевский Давид, Хайфа, сентябрь 2006
Библиотека Александра Белоусенко

ПОСВЯЩЕНИЕ:
Нике, без помощи которой
эта книга не была бы написана.
АВТОР

Работу над переводом посвящаю вам,
мои дорогие дети — Таня и Боря
ПЕРЕВОДЧИК

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Даниэла,— шепнул он,— почему ты не зашла вчера к нам съесть чего-нибудь горячего? Мы ждали тебя.

Голос раздался за ее спиной, и она догадалась, что сзади стоит Вевке. Никто не произносит «эл» в ее имени с таким резким литовским выговором и одновременно с такой отцовской мягкостью. Она, не поворачиваясь и продолжая распарывать шов клетчатых брюк, ответила скороговоркой:

— Спасибо, я была не голодна.

— Мы не пообедем,— продолжал он шептать,— где приготовлено на семь, хватит и на восьмого. Тебе не следует отказываться.

Шульце стоял на своем возвышении в тряпичном зале, держа в руке палку заостренным концом вверх, как прусский офицер — свою обнаженную саблю во время торжественного церемониала. Вевке быстро нагнулся и, собрав куски распоротой ткани, направился в зал закройщиков, чтобы сложить свою ношу на высоком столе. Женщины внимательно следили за ним.

Случается, что эта гора поношенной одежды, сложенная в середине тряпичного зала,

вызывает внезапный и жуткий страх. Женщины впадают в состояние полной немоты, а руки их продолжают двигаться, словно принося жертву какому-то кровавому богу.

Наверху, над тряпичным залом, находится пошивочный цех, где непрерывно стучат сотни швейных машин. Их

7

педали ходят ходуном, ударяясь об пол с такой силой, что внизу, в зале тряпок, этот стук воспринимается, как непрерывный и приглушенный гул. Люди давно свыклись с ним, как привыкают рыбаки, живущие у моря, к шуму волн.

Даниэла вытаскивает из кучи платье. Легче всего распарывать мужские дождевики: по бокам плащей идет длинный шов, и нож скользит по нему без помех. Тут есть время подумать, поскольку работа не требует особенного внимания и напряжения. Карманы не накладные — нет опасения, что сапожный нож для распорки может, упаси боже, надрезать ткань. Вся беда в том, что не позволяют выбирать из кучи. Каждый обязан брать то, что лежит перед ним. Это, в конечном счете, как кому повезет. Тут все в везении, в судьбе. Некоторые находят ведь иногда золотую монету, запрятанную в воротнике детского пальто.

Никто не знает, откуда привозят каждый день такое количество одежды. Все боятся спросить себя, где люди, что носили эту одежду, куда они делись, раздетые и голые люди? Все знают, что в окрестностях Бреслау находится грандиозный лагерь, где вся одежда подвергается тщательнейшему осмотру в поисках спрятанных в швах и складках ценностей.

Хорошую и новую одежду отправляют в Германию, потрепанная продается сапожной, организованной в гетто. Здесь она распарывается, из нее выкраивают верха для сандалий, закупаемых гестапо десятками тысяч для целей, известных только ему.

Если бы Даниэла выбрала из кучи плащ, приглянувшийся ей, никто из женщин, работающих на распорке, не посмел бы сказать ей об этом. Все знают, что эта девушка с золотистыми волосами как-то связана с Вевке, техническим руководителем мастерской. Но Даниэла не может позволить себе такое. Протяни она только руку, чтобы вытащить более легкую для распорки одежду, тут же стали бы смотреть на нее во все глаза; глазели бы и молчали. Ненавидит она взгляды этих женщин. Целыми днями следят они друг за другом — не нашла ли соседка в распарываемой

8

одежде клад, искусно запрятанный в швах. Глаза напряжены, сердце стучит.

Все знают, что одежда прошла тщательную проверку в лагере Бреслау, а все же глазам нет покоя, и они блуждают, а вдруг мелькнет золотая монета, и кто-нибудь спрячет ее; а может удастся увидеть, как чьи-то проворные руки вытягивают американскую «лапшу»* из заматанной петли пальто. В конце концов, контролеры в Бреслау тоже люди, не ангелы — могли и не доглядеть.

Справа тянется помещение закройщиков, слева—сапожников. Руководители работ и бригадиры спешат, бегают, суетятся. Работа так и горит. Адам Шульце, главный немецкий наблюдатель, медленно расхаживает по комнатам. Вевке в это время ходит от одного сапожника к другому, подавая якобы материал для работы. Он знает, около кого задержаться, чтобы спасти ботинок, тачаемый евреем, ставшим сапожником только вчера. Испортит ботинок — его тут же пошлют в Освенцим. Такой случай Шульце квалифицирует как «сознательный саботаж».

Станный человек этот Вевке, размышляет Даниэла. У него счет еще ведется на «семь». «Приготовленная для семерых пища хватит и на восьмого...» С тех пор, как случилось несчастье с Тедеком, она не может показаться в его комнатуске. И никогда она не войдет туда. В принципе, Вевке должен был ненавидеть ее. Вся его семья должна ее ненавидеть. Тедек был любимцем, все они гордились им. Но разве она виновата, что Тедек вышел из гетто. Все говорят, что ради нее. Но ведь не раз бывало, что Тедек выходил из гетто и перебирался на арийскую сторону. Фарбер всегда оказывал ему помощь в его нелегальных командировках. Много раз он пробирался на арийскую сторону — и всегда удачно, без провалов. Мозг Тедека был поглощен одним: как добраться до словацкой границы через Бескидские леса? Будто не было других забот. У Тедека был разработан план — оттуда добраться до Палестины. План, разработанный до мелочей. И должно же было случиться так,

* Так называли американский доллар.

9

что как только он шагнул за ворота гетто, его поймали. Если бы не она, возможно, Тедек не стал

бы думать над подобным планом, планом, который не сулил ничего хорошего. Тедек был влюблен в нее. Все это знали, кроме нее. Она старалась не давать ему повода к подобному изъяснению чувств. Она как могла противилась его плану, потому что чувствовала, что он это делает ради ее спасения. Как же она теперь покажется перед его семьей? Пока еще не известно, куда его направили, то ли в Освенцим, то ли в другой лагерь. Но какая, в сущности, разница? Во всех этих лагерях люди исчезают, как в морской пучине.

Фотографии... Фотографии разных форматов, большие и маленькие, падают из распоротой одежды, из карманов. Они валяются на полу. На них наступают. Вначале, когда, бывало, выпадет из кармана фотокарточка, пытались прочесть надпись на обратной стороне. Теперь перестали. Распорядительница Ривка сгребает их в кучу, как мусор. Никто уже на них не обращает внимания: женихи и невесты, младенцы в колыбелях, молодые парни.

Теперь уже никто не читает надписи на обороте этих снимков. Часто их и не понять совсем. Надписи сделаны на голландском, на французском, на русском, на немецком языках, иногда по-чешски, иногда на греческом, на идиш. Кто тут знает так много языков?

«Пищи, приготовленной для семи, хватит для восьми...»,— эти же слова сказал Даниэле Вевке в первую ночь их прибытия из Кракова сюда; он сказал об этом, как только ему удалось спасти ее из рук «еврейской милиции». Тедек был с ними, но она его еще не знала. И Менаше был там. Тогда он и сказал ей: «Пища, приготовленная...» Сегодня он повторил эти слова. Для него они все семеро еще существуют...

Тедек, видимо, утратил чувство реальности. О нем всегда говорили как о разумном, степенном человеке; он ведь знал, что младший брат его, Менаше, погиб при попытке пробраться в леса. В сущности, какая разница: Славянские леса или Бескидские? Ведь еще до гибели Менаше

10

бывали случаи, когда находили трупы евреев, выброшенных из лесов на дорогу с приколотой к телу запиской: «Застрелен, но не немцами», а подпись гласила: «Польские партизаны». Тедек ведь это знал очень хорошо, но все же не переставал толковать: «Не хочу ждать, пока немцы убьют всех евреев в гетто!» Что она только не делала, чтобы отговорить его от этого безумного плана? Но Тедек не поддавался ни мольбам, ни уговорам. «Не вернусь я в гетто! Будь что будет!» Вевке все это слушал, проглатывал и молчал.

В ту ночь, когда Тедек вернулся домой, он им сказал: «Менаше перешел к партизанам...» До сих пор по Вевке нельзя узнать, верит ли он в это, или знает страшную правду. Жена Гитл стояла лицом к плите. Ее слезы капали в пустые горшки, которые она по привычке переставляла с места на место. Вевке стоял сзади и говорил ей

— Гитл, радость моя, вот увидишь, Менаше скоро-скоро вернется в, русском танке, величиной с дом Гелера. Увидишь, моя Гителе, убедишься.

Сказав это, он быстро вышел из комнатки, будто кто-то гнался за ним!

На высоких столах закройщики выкладывают куски распоротой одежды. По цветам. Гладкий темно-синий — ткань учеников; черная ткань — одежда религиозных евреев и бухгалтеров; просвечивающий шевиот — для прогулок в теплые зимние дни. Куски лежат стопками. Закройщики вдавливают свои острые ножи глубоко в ткань, вырезая «пары», которые передаются в пошивочный цех, а оттуда, сшитые, отправляются в сапожную.

Когда «Особый отдел» решил открыть в гетто сапожную мастерскую, началась страшная беготня в «юденрат». Каждый хотел стать сапожником. Люди тайком вытащили свои последние драгоценности и отдали их людям из «юденрата». Что может быть лучшего для еврея, чем рабочая карточка предприятия «Особого отдела», его величества «Особого отдела», ведающего отправкой евреев в немецкие лагеря? Ведь должно же быть ясно, как день, что

11

этот отдел не пошлет своих рабочих в лагерь, когда они так нужны тут. Но вдруг выяснилось, что в гетто нет сапожников, так как ремесленников схватило гестапо в качестве выкупа за богачей. Кто бы мог подумать, что наступит день, когда в гетто не найдется сапожника? Пришлось иметь дело с «интеллигентами» и с «закручивающими гайки» (так звали тех, которые были в состоянии купить для себя фальшивые рабочие карточки); но они не умели шить обувь. Легко представить себе радость «юденрата», когда явился Вевке, известный во всей округе сапожник, и не простой сапожник, а буквально художник своего дела. Да, он спас положение. Он был назначен техническим мастером сапожной и стал обучать евреев гетто сапожному делу.

В мастерской стоят ряды низких столиков. За ними, на низких табуретках, сидят врачи, адвокаты, раввины и изо всех сил стараются заслужить похвалу Шульце.

Такое впечатление, что это гигантский детский сад. Только на низких табуретках сидят взрослые евреи, а вместо пластилина и других игрушек они держат в руках деревянные подошвы, к которым прикрепляют матерчатые верха.

В 12 часов, когда Шульце отправляется в «Клуб камараден» на обед, Вевке садится к столу сапожников, берет в руки молоток и начинает работать. Он словно чувствует приток свежих сил, и сапожный молоток играет в его руках. Вевке противно пустое расхаживание между столами сапожников в течение дня. Это безделье иссушает его мозг, его ноги тяжелеют, глаза тускнеют. В течение дня он только и бегаёт от одного стола к другому, из одного зала в другой. Ему все это претит. Он не может отвечать за обувь, шитую врачами и адвокатами. Теперь, когда сапожный молоток в его собственной руке, он чувствует, как по жилам быстрее течет кровь; мускулы напрягаются; он свободнее дышит. Ему хорошо и удобно. От радости ему хочется петь.

Гитл наверняка сказала бы так: «Семидесятилетний — как семилетний!..» В гетто, в немецкой сапожной мастер-

12

ской, ему внезапно хочется петь. Но все же благоразумнее молчать. Лучше уж послушать одним ухом Зильберштейна, детского врача, сообщающего политические новости. Сапожники вокруг не поднимают глаз от работы; они только поворачивают головы, как курицы, столпившиеся около брошенных зерен, и передают от одного стола к другому:

«Ящик» передал, что Рузвельт произнес речь... Рузвельт выступал...»

Никто не спрашивает, что говорил Рузвельт, о чем он возвестил миру. «Рузвельт выступил...» — этого достаточно.

Бергсон, кантор синагоги, который перед войной жил в одном доме с Вевке, и помог ему попасть в этот отдел, показывает карту Крыма, недавно захваченного немцами.

— Болячки и кровоподтеки им в печенку! — выплевывает проклятие вместе с гвоздями Вевке.

За рабочим столом Вевке забывает боль, запрятанную глубоко в сердце, словно сапожный молоток — волшебная палочка.

Но это чудо исчезает, как только появляется Шульце. Вернувшись с обеда, он старается прокрасться незаметно в зал сортировки тряпок. У него голова вся в волдырях и без всяких признаков растительности, а рожа выглядит как заспиртованный зародыш. Меж узких синих губ всегда зажата дымящаяся сигара. Наверное, хочет убедить всех, что все-таки он не эмбрион. Доказательство — он курит сигары...

Шульце прихрамывает и всегда ходит с палкой, которая кажется его третьей ногой. Конец палки покрыт каким-то особым сплавом резины, и только Шульце знает секрет, как толкнуть им свою жертву, чтобы она потом долго не могла дыхнуть. И не понятно, то ли на конце палки упрятан гвоздь, то ли просто Шульце наловчился так искусно бить. Так или иначе, он прокрадывается в зал сортировки, будучи уверенным, что никто его не заметит. Скорее всего, его бы, действительно, не заметили, если бы не зловоние сигары.

Двух женщин с распорки он уже отправил в Освенцим. Одна из них нашла «поросенка» (так Шульце называет русские монеты) под заплатой рабочих брюк, а другая стала

13

шуметь, что половина находки полагается ей, так как она еще раньше держала эти штаны в руках. Перебранку услышал Шульце и обеих отправил в гестапо, а оттуда... оттуда они уже не вернулись. На следующий день был отдан приказ, по которому все женщины в конце работы должны подвергаться личному досмотру. И все-таки иногда этим несчастным удается провести Шульце — они просто-напросто глотают свою находку

Фотография валялась на полу у ног Даниэлы. Фотография выпала из какого-то кармана во время распорки вместе с молитвенным мешочком с тфилином. На мешочке был выткан красными нитками с серебром «Маген Давид». Даниэла не может оторвать глаз от снимка, валяющегося на полу. Мальчик и девочка. Точно как она и Мони на снимке в медальоне, что спрятан у нее на груди. Глаза детей уставились на нее с пола и не дают ей покоя. Будто глаза Мони спрашивают: «Даниш, зачем ты поехала?»... На Даниэлу хлынул поток воспоминаний. Ее прошлое, такое далекое и такое близкое, лежит в кучах этой старой одежды. Люди вокруг нее внезапно показались ей какими-то не настоящими. Внешне это похоже на жизнь — они движутся, говорят, но все это как будто под стеклянным колпаком. Она не может смешаться с ними и жить их жизнью. Снимком, брошенным на пол, кажется Даниэле ее теперешнее существование, а былое плывет

перед ее взором, как легкий дымок сигары Шульце. Где реальность и где мечты в этом ужасе! Вот эти кучи одежды, безусловно, не фантазия. Она видит это своими глазами, она может притронуться к ним. Но как она попала сюда? Все вокруг окрашивается в пунцовый цвет молитвенного мешочка. Обложка ее дневника тоже красная, а на медной пластинке слова посвящения: «Дорогой Даниэле...» Теперь эта табличка искорежена немецкой пулей. Если бы не она, Даниэла валялась бы на базаре в Яблове, как другие расстрелянные там немцами евреи.

14

В зале закройки мечутся от стола к столу заведующие. На полу валяются куски белого полотна, и это напоминает вид ябловского базара в тот день, когда немцы выгнали всех евреев из домов и собрали на базарной площади. Здесь им приказали лечь. Площадь выглядела как куски сложенного материала. Базар внезапно опустел, только дыхание сотен людей. Это было полной противоположностью тому, что случилось по дороге в Краков. Шагая в Краков, она совсем не замечала под ногами дорогу. Вдруг появились немецкие саперы; все побежали прятаться в кюветах вдоль дороги, и только тогда она увидела бесконечное шоссе. Ей бросился в глаза труп убитой лошади с вытянутыми вперед ногами. Люди топтали труп ногами. Рядом валялись велосипеды с задранными вверх колесами; детские коляски, груженные горшками и постельными принадлежностями. Бесконечная дорога, пустая, мертвая, только сейчас открывшаяся взору.

Может, сюда свезены платья ябловских евреев? Правда, такое платье носила Риша Маерчик, выходя на прогулку. Как сюда могла попасть одежда ябловских евреев? Это ведь было три года тому назад! Мать ее упрасивала: «Даниш, возьми, пожалуйста, с собой свой дождевик, он тебе пригодится во время прогулок...» Если бы она не послушалась, она не смогла бы захватить ткани посредника Абрама, которыми обвязала живот, и давно бы умерла с голоду. Несомненно, сегодня будет акция в гетто. Берман, торговец золотыми вещами, примчался в мастерскую; закройщики стараются изо всех сил. Вевке тоже мечется весь день. Не будь этого Вевке, она, конечно, не попала бы в мастерскую. Она все же счастливая. Не попади она сюда, не остаться бы ей в живых...

День писем. Письма, уже написанные, и письма, еще не написанные. Почти из каждого кармана выпадает письмо. Как будто эта одежда из одного транспорта. Словно, они сговорились взять с собой письма; или им было обещано, что по прибытии на место тут же можно будет написать. На конвертах еще следы пальцев. Карманы брюк набиты

15

всякой всячиной. От подкладок еще исходит человеческий дух. Рукава еще завернуты, воротники приподняты. Пальто еще наполнены жизнью тех, кто их носил.

Среди работниц внезапно воцарилась немая тишина. Лезвия ножей движутся сами по себе, никто из женщин не смотрит в руки другим. Опущенные глаза глядят только на чужую одежду, что на их коленях, и они читают по ней судьбу их владельцев.

Одно из окон зала завешено лоскутом талеса, прибитого гвоздями к раме, чтобы в комнату не попал снег. Ветер надувает талес, и это напоминает еврея, закутанного в талес и забравшегося на окно, чтобы выпрыгнуть на улицу.

Шульце стоит близко к входу и концом своей палки сгребает письма в кучу мусора.

— Сарра! — кричит он Ривке (всех еврейских женщин он зовет «Саррой»), — чтобы было чисто! — Он протягивает свою палку и резиновым концом касается ее лба. Помешкав, он вглядывается в ее глаза и, будто вспомнив что-то, орет на нее изо всех сил:

— Чисто!.. Чисто!..

День писем. Часть написаны чернилами, часть карандашом. Все равно, их не будут читать. Может быть, они написаны по-голландски, может быть, по-гречески. Их боятся читать, а тем более — положить в карман. Кто поймет причуды Шульце и кто станет уточнять у него, что можно и чего нельзя? И за менее значительные проступки он отправляет людей в Освенцим. «Даниэла, не забудь каждый день посылать нам по открытке с дороги...» Никогда лицо папы не было так озабочено, как тогда, когда он сказал ей эти слова на железнодорожной станции. Тогда она не понимала смысла его слов. В Краковском гетто все ее предупреждали, нагоняли на нее страх: «Не пользуйся немецкой почтой!» — «Все, связанное с печатью свастики, издает запах смерти.» — «Война ведь не вечно продолжится. Лучше подождать, лучше быть осторожным...» — так говорили ей. Тогда она еще могла писать домой. Гетто было не совсем оторвано от мира. Потом она услышала о происходящем там со

16

слов Залки, контрабандиста. Боже праведный! С каким равнодушием Залка говорил об этом. «В

гетто ничего нового. Кто остался в живых — не умер пока; кто умер — тот уже не живет». Он не знает ее родителей. Найти же человека в гетто невозможно. Никто уже не живет там, где жил раньше. Даже мертвецы не имеют адреса — неизвестно, где они похоронены. Все безымянны. Во время «акции» немец, словно опускает свою руку в мешок с семечками, возится в нем и просочившиеся между пальцами зерна остаются пока в этом темном мешке...

Почему она тогда поддалась уговорам людей? Почему не написала родителям, еще остававшимся дома? Два года она провела в Кракове. Как странно, каждый день она видела замок польских королей, и ни разу это не задело ее сознания, а ведь именно затем, чтобы посмотреть знаменитый Вавель, ехала она сюда. «Вавель»... Внезапно это слово превратилось в кошмар. Оно преследовало людей днем и ночью и всегда маячило перед глазами, во сне и наяву.

Вавель... Место вдохновения Адама Мицкевича. Но это все было в ином мире. Было это так давно, и так далеко от того, что окружает ее сейчас. Красивый сон, далекий и забытый. Как аккорд натянутой струны, постепенно потухающий... Он замирает, хватая за сердце — звучание иного мира, мира прошлого, ушедшего, будто его никогда и не было.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Разгар лета 1939 года.

Даниэла Прелешник.

Ей четырнадцать лет. В ночь перед своей первой в жизни поездкой она не могла заснуть. Впервые в своей жизни она ощутила лихорадку путешествия. Мысли копошились в ее голове и оставили осадок напряженности и нетерпения. Завтра, рано утром, она со своими соученицами отправится в первую прогулку в Краков. Она выдержала дома целую

17

бурю. «Не время теперь для прогулок... В воздухе пахнет войной...» — говорил ей отец.

— Какое отношение имеет война к школьной прогулке на место захоронения Мицкевича в Вавеле? Сегодня двадцать седьмое августа, а третьего сентября я уже буду дома вместе с классом. Так чего же бояться?

Позади их дома начинались улицы польского промышленного центра, погруженные в дремоту. Электрички пронеслись мимо, уставшие, а колеса с силой терлись об рельсы. Днем, когда электрички носятся по городу, как ветер, даже не слышно их звонков.

Над крестом костела, построенного еврейским промышленником около своей большой фабрики для рабочих, висит полная круглая луна. Светлая полоса проникает через открытое окно в большую детскую комнату, ползая по покрашенным белым лаком стенам, освещая лежащий на столе упакованный рюкзак. У неосвещенной стены спит семилетний брат Даниэлы, он спокойно дышит.

На этот раз она воспользуется случаем и обязательно заедет в столицу проведать Гарри. Она должна это сделать во что бы то ни стало, даже если ей придется пропустить начало школьных занятий. Может, ей удастся уговорить Гарри, и он возьмет ее с собой в Эрец-Исраэль. Он ведь обещал ей, что по приезде в Палестину вызовет ее туда. Почему бы этого не сделать сейчас? Понятно, родители ни в коем случае не должны даже догадываться об этом.

Даниэла любит своего старшего брата. Иногда, правда, ей кажется, что он отдалился от нее в последнее время. С тех пор как в его жизни появилась Саня, он даже не отвечает на письма Даниэлы. Ясно, он сейчас думает о другой, чужой. Правда, Гарри никогда не говорит об этом прямо, но достаточно сравнить его прежние письма с теперешними. Каждая получаемая Даниэлой открытка начинается и кончается извинениями: очень занят приготовлениями к отъезду в Палестину. С тех пор, как он познакомился с Саней, он стал реже приезжать домой, а раньше он часто и долго гулял с Даниэлой. В зимние вечера ходил с нею на каток.

18

Часто ждал ее на тротуаре против здания гимназии. Подойдет к ней, элегантно снимет фуражку и, смеясь, говорит: «Позвольте вас пригласить на предобеденную прогулку...»

Даниэла ворочалась в постели с боку на бок. В другую такую ночь она наверняка встала бы с постели, зажгла свет и что-нибудь записала в своем дневнике; в другой раз она не побоялась бы, что мать увидит свет через стеклянную дверь детской. Но поскольку отец не очень-то доволен всей этой затеей с экскурсией, она лишь подольет масла в огонь, если займется дневником.

Дневник она решила взять с собой. Ведь она надеется получить первую премию в

соревновании по школьному сочинению. Она никому не покажет свое сочинение. Гарри — тому она пошлет копию. Она должна его удивить. Да! На сей раз ее сочинение получит первую премию. Пусть Гарри знает, кем ему надо гордиться...

Она вылезла из постели, выдвинула ящик стола и вынула свой дневник. Она ведь может забыть завтра положить его в вещевой мешок. Светлая полоса высветила толстую тетрадь в ее руке. Тетрадь была в красивом пурпурном переплете, и на ней блестела маленькая медная табличка, на которой было выгравировано две строчки: «Дорогой Даниэле от брата Гарри». Она начала листать дневник:

«..Ученики и ученицы гуляют в свое удовольствие по тропкам городского сада. Некоторые, перегибаясь через перила деревянного моста над озером, бросают крошки хлеба белоснежной красавице лебеди, плывущей по водной глади как зачарованная княгиня, погруженная в мечты. Сад и все мы, стоящие здесь, принадлежим ей. Небеса и солнце — ее друзья. Она ведь разделяет с ними общество и, наверное, пригласит их для визита вежливости ночью, когда луна погружается в воды озера. Она не нуждается в людской милости, но, когда мы бросаем ей крошки, хлеба, она тут же приплывает к мосту, гордо осматривается кругом, погружает свой красивый клюв в воду и быстро вынимает его, описывая полукруг своей белой шеей; она грациозно проглатывает свою добычу, поворачивается и уплывает по

19

зеркальной глади воды. Она вся величественна и грациозна — высокомерная нищета...»

Как только Даниэла стала засыпать, из сумеречного сада возник белый лебедь и приблизился к ней. Белая полоса нежного света, льющегося в окно, превратилась в освещенное озеро. Лебедь раздвоился: теперь пара белоснежных лебедей плывет вдоль длинного деревянного моста. Даниэла стоит на чужом, незнакомом ей берегу. Вода в озере потемнела от густого красного цвета. За ее спиной проносится бесконечное множество вагонов и выглядят они, как пьяные накануне воскресного дня. Даниэла поворачивает голову назад. Среди снопов искр стоит Гарри. Все красно. Гарри тянется вверх, увеличиваясь в росте, он уже головой упирается в небо. Его окутывает белое облако, он весь покрыт им. Он смотрит на нее широко открытыми, окаменевшими глазами. Внезапно белые лебеди простирают над ней светлые крылья. Они защитят ее и укроют. Даниэла бежит по длинной дороге. Ноги подкашиваются. Еще немного, и она упадет. Она кричит. Но крик стоит комом в горле и никому не слышен. Внезапно она падает с большой высоты в глубокую пропасть, падает, падает...

Когда Даниэла очнулась и открыла глаза, звон электричек еще сотрясал ночной воздух. И в ней все сотрясалось. Холодный пот покрыл лоб. Она чувствовала большую усталость, словно в самом деле только что остановилась. Пережитый во сне кошмар не покидал ее. Все виделось, как наяву, страх тоже был настоящий, как от пережитого на самом деле.

Белая полоса света падала ей прямо на голову, проникая от угла открытого окна, как остро отточенный длинный стальной штык. Казалось, что этот штык вонзился острием в стену около ее постели.

Небо над городом было чистым и голубым. Солнце теплых августовских дней стелило свои лучи по серому нагретому асфальту улиц, по которым ученицы школы «Знание»

20

шагали к вокзалу. Легкий ветерок шелестел в волосах девочек. Даниэла шла в первом ряду, возбужденная и ликующая от радости. Это была ее первая экскурсия. Она увидит окружение Мицкевича, ее любимого поэта, стихи которого она знает наизусть. И самое главное: счастье от ожидаемой внезапной встречи с Гарри.

Она еще не знает точно, как устроится ее встреча с братом. Сначала она думала послать ему телеграмму, но потом отказалась от этого: если Гарри заранее будет знать о ее прибытии, то для него не будет никакого сюрприза. Нет! Лучше, если она приедет в Краков неожиданно для него. Она подождет его у выхода из дома. А когда он выйдет из ворот, она пройдет за ним несколько шагов, нагонит его и деланно равнодушным тоном скажет:

— Может, господин располагает временем пригласить одинокую девушку на предобеденную короткую прогулку?..

Как это будет чудесно!

Все веселит ее.

Она легко шагает; рюкзак хорошо прикреплен к спине. Она его даже не чувствует. Ее дождевик сложен и привязан поверх рюкзака. Это мама настаивала, чтобы она взяла с собой

плащ. На этот раз она не посмела ей противоречить.

Даниэла шагает, и сердце ее наполнено радостью. Она в хорошо подогнанных спортивных гамашах, плотно облегающих ее стройные ноги; лицо ее — светлый шоколад, длинные ресницы кладут пленительную тень на мечтательные голубые глаза.

Отец Даниэлы, хоть и попрощался с дочерью рано утром до ухода на работу, не находил себе места от беспокойства. Какое-то потаенное чувство тревоги заставляло его вернуться домой, наказать еще раз Даниэлу, чтобы она не забывала писать им открытки с дороги. Но он уже не застал ее дома. Детская была пуста. На столе блеснул забытый ею медальон. В спешке, очевидно, Даниэла забыла надеть его на шею

Этот медальон Даниэла получила в подарок, в день ее тринадцатилетия. В нем было вмонтировано два золотых

21

овала. В одном — маленькая карточка родителей, во втором — она снята вместе с младшим братом Мони: Даниэла в школьной форме, две золотистых косы спускаются на грудь, а около нее, у маленького столика, сплетенного из соломы, сидит трехлетний Мони в белой матросской форме и смотрит широко открытыми глазами в черную камеру.

Отец взял медальон, чтобы пойти на станцию и передать его Даниэле, а заодно уж и сказать все, что надо. Но из соседней комнаты он услышал плач Мони.

Мони было семь лет, и уже можно было понять, что по характеру он был полной противоположностью Даниэлы. Он не любил отлучаться из дому, мир не тянул его к себе. У него были черные бархатные глаза — как у матери. В эти глаза отец влюбился с первого взгляда. Часто, когда Прелешник видит поднятые к нему глаза маленького сына, его охватывает трепет, и он, под влиянием накатившей волны, обнимает и прижимает к сердцу его маленькое тело.

Увидев в дверях отца, мальчик расплакался пуще прежнего. Отец поднял Мони, прижал заплаканное лицо к щеке, к губам, к глазам и забормотал:

— Что с тобой, мой маленький цадик? Что за плач?..

— Я хочу к Даниш.

Прелешник взял его с собой на вокзал, чтобы он смог еще раз попрощаться с сестрой.

Вещевые мешки были сложены у ног девочек, которые были явно в приподнятом настроении. Им было объявлено, что сегодня поезд опоздает, так как дорога занята воинскими составами. Увидев издали отца и Мони, Даниэла побежала им навстречу.

— Даниш, почему ты уезжаешь от нас? — грустно спросил Мони.

— Чтобы привезти тебе красивый подарок, мой ненаглядный, — ответила она.

На путях стояли длинные составы, конца которых не было видно. В одном из открытых вагонов мелькали солдаты в белых майках, возившиеся у больших котлов, из которых валил пар. Там варили обед. Около походной кухни была

22

установлена странного вида пушка, с направленным вверх жерлом, а около пушки на земле сидел солдат и играл на губной гармошке.

То, что поезд опаздывал, очень беспокоило Прелешника. Но он старался не показывать своей тревоги, чтобы не огорчать понапрасну дочь и не разрушать ее радости. Он только еще раз напомнил Даниэле свою просьбу писать ежедневно по открытке с дороги.

Когда поезд, наконец, прибыл, девочки обрадовались и с шумом ворвались в вагоны. Голова Даниэлы высунулась из окна, и ветер своим «гребнем» причесывал ее золотистые косы.

Поезд тронулся. Отец и Мони, а вместе с ними станция и все что было кругом, стало медленно отступать назад. Глаза Даниэлы продолжали смотреть на отца: одной рукой он махал ей белым платком, а другой держал Мони.

Поезд стал прибавлять ходу, ускоряя бег. Серая пустота покрывала длинные плети рельс. Перед глазами Даниэлы еще долго стояли отец и брат, и она навсегда запечатлела их в своей памяти.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Раньше всего взошли на эшафот еврейские местечки в Польше.

Районы польской столицы были разделены немцами на еврейские округа закрытого типа, отделенные от остального населения — «кварталы евреев». Никто не мог войти туда и выйти

оттуда. Если в столице ловили еврея, улизнувшего из гетто, гестапо тут же направляло его в Освенцим. Однако, если такой беглец попадался в руки еврейской милиции, у него была возможность откупиться, и тогда его отправляли в «концентрационные пункты», куда собирали всех, у кого на удостоверениях личности не было красной печати гестапо, дающей право проживания в районах столицы.

Цель концентрации «незаконных» в отдельных местах

23

давала возможность, «юденрату» оправдаться перед гестапо, что, мол, эти люди нам известны, мы их собрали вместе, чтобы можно было, когда наступит время, передать их в руки правосудия.

Таким евреям запрещалось ночевать или проживать у своих родственников, или на другой постоянной квартире. Если кто-то попадался, то и его и приютивших его тут же отправляли в Освенцим.

ИЗ ДНЕВНИКА ДАНИЭЛЫ

Краков, 16. 2. 42.

Какие золотые мечты возникали у меня при первых шагах в столице! Прийти и войти в дом Гарри просто так казалось мне недостаточным, чем-то малозначительным. Я решила поджидать его на одной из улиц. Я ведь сама ощущала счастье, когда Гарри внезапно появлялся передо мной у ворот гимназии.

«...Жгучие желания, трепещущие в сердце человеческом как семена, брошенные в космос. По большей части они теряются, пропадают. Но бывает, что желания так изменяются, что сердце и ум, видевшие его в воображении своем, больше не узнают в нем сходства с задуманным».

Я повторяю это, вспоминая свою первую ночь в столице, куда привел меня контрабандист Залке.

Перед тем, как вызволить меня из Краковского гетто, он условился со мной: я должна переправить буханку хлеба его родственнику, оставшемуся в столице. Как незначительно казалось мне это условие! Что для меня нести буханку хлеба... А если бы мне пришлось прятать тысячу буханок, чтобы в награду быть вместе с Гарри?

— Пожалуйста! — ответила я ему. — Я согласна нести даже две буханки!

— Нет! Две буханки немцы тут же заберут у тебя на границе! Самое главное, — повторял он бесконечное количество раз, — ты не должна забывать, что ты католичка, едущая в

24

столицу, чтобы найти подходящую работу. Хлеб ты нашла, — не купила, ни от кого не получила его, а нашла. Около рельсового пути нашла, поэтому он так запачкан. И еще запомни: «Залку я не знаю, никогда его не видала». Только впоследствии я узнала, что буханка, которую я несла для его родственника, была наполнена бриллиантами и золотыми монетами.

«...Трепещущие желания в сердце человекьем по большей части исчезают...» Когда ноги мои ступили впервые в ночной темноте на улицы Кракова, я не помнила о своих золотых мечтах, приведших меня сюда. Я уже не помнила, что это город, в котором — Вавель. Вместо того, чтобы приехать в Вавель Мицкевича, я угодила в Вавель гаулейтера Франка. Так было в ночь моего прибытия в столицу. Из моего сознания полностью выветрился образ Гарри, и все мои мысли были сконцентрированы только на том, как проскользнуть и пройти по тусклым переулочкам и проходам, чтобы меня не обнаружил ни один немец.

Неужели все мои пожелания и мечты осуществляются таким образом?

...В ту ночь председатель «юденрата» выгнал Вевке-сапожника из кровати и под охраной доставил его в помещение «службы порядка». Каждый из высокопоставленных гестаповцев требовал для своей жены обувь высшего качества, и кто еще, кроме Вевке, мог выполнять заказы таких капризных заказчиков?

В дежурной комнате «службы порядка» в третьем еврейском квартале в глубоком кресле, закинув ногу на подлокотник другого кресла, сидел дежурный милиционер. Его бело-голубой головной убор был сдвинут набок, глаза наполовину закрыты, и голосом, полным равнодушия, он продолжал свой рассказ, обращаясь к Вевке.

— Люди заплатили бы целое состояние, чтобы перейти такую границу благополучно. А, может, ты думаешь, что бог охраняет легкомысленных? Так вот, на тебе: входит вот эта

девочка прямо в милицию. Невозможно представить себе, как ей удалось пройти границу, проехать всю дорогу из Кракова в столицу и не быть задержанной.

— А что вы с ней сделаете? — спросил Вевке.

Милиционер не сдвинулся с места, не нарушил удобную позу. Он даже не посмотрел в сторону Даниэлы, как будто не о ней шла речь. Глаза его прикрыты ресницами, он продолжает тихим, сонным голосом:

— Что значит «что»? Завтра она пойдет в «транспорт».

И гибель, и спасение приходят к человеку невзначай. За обещание пришить новые кожаные подошвы к сапогам милиционеру, спас тогда Вевке Даниэлу от смерти.

Даниэла спустилась вниз.

Ей не спится. Еще комендантский час, но ее тянет к воротам дома. Ведь в воскресенье пришел к ней Гарри из первого еврейского квартала. В воскресенье мастерские не работают, а немцы напиваются в своих кабаках, и Гарри легче улизнуть. В воскресенье опасность не так велика.

Коридор около ворот уже был полон людскими тенями. Холодный воздух насыщен влагой. Даниэла приподняла воротник дождевика. Она наивно думала, что будет единственная или, по крайней мере, первая. Каждое воскресенье она так думает. Но стоит ей войти в этот длинный сумеречный коридор, она тут же чувствует, как ко всей длине стен прижаты люди. Ей любопытно знать, как долго они уже стоят и ждут. Кто-то подходит к воротам, открывает их и тут же возвращается на свое место.

Ворота открыты. Снаружи в коридор как бы смотрит пустая, вымершая улица. Мертвая и пасмурная. Медленно падал мокрый снег. То ли снег, то ли дождь. К чему и зачем, собственно, она так спешила прийти сюда? Если бы не мокрое месиво, она бы как все тут же по окончании ночного комендантского часа побежала бы на улицу. Она взглянула на площадь, на дом «юденрата», который был границей; там, на клочке поля, ждала бы она появления Гарри,

26

хотя в этом не было никакого смысла, так как по большей части Гарри появлялся только в полуденные часы. И не только это. Она ведь сама его упрасивает, чтобы он не выходил из своего квартала в утренние часы. Как странно: каждый раз она его упрасивает об этом, и все-таки бежит по площади к границе, отмеченной домом, сразу по окончании комендантского часа. Она останавливается там, и глаза ее устремляются в поле. Она надеется, что вот-вот различит в появляющейся точке Гарри. Точка приближается, она все больше и больше обозначается, ах, это чудесно, она всегда еще издали чувствует приближение Гарри. Как было бы хорошо, если б он пришел пораньше! Сердце подсказывает ей, что это может плохо кончиться. Но как повлиять на него, чтобы он не ходил сюда? Бог небесный, храни его от всякого зла!

Когда ей удастся заработать несколько марок, она прежде всего пойдет к сапожнику отремонтировать ботинки. Боже упаси заходить к Вевке! Нет, этого она себе никогда не позволит, даже если ноги сгниют! Он ведь не захочет взять у нее денег. Кажется, Хаим-Юдл принес вчера тюк нового войлока. Тогда она сможет заработать немного. Заработать трудно. Покуда обегаешь знакомых, сходишь туда-сюда, уже начинается комендантский час. Если ей не удастся вовремя отремонтировать ботинки, они просто спадут с ног. Воскресенье — единственный день, когда можно немного заработать. Когда она вернется, уже начнет темнеть и ничего не успеешь сделать. Может, ей сейчас подняться в «точку» и спросить Хаим-Юдла, есть ли для нее какая-нибудь работа? До обеденных часов она, пожалуй, еще успеет сходить по его поручениям и заработать несколько марок. Но Хаим-Юдл, наверное, еще спит. Невезучая она какая-то. Другие успевают все сделать, а ей никогда не хватает времени. Всю неделю она с нетерпением дожидается воскресного дня, а когда наступает этот день, он как-то протекает между пальцами. Если бы она была более проворна, она успела бы сегодня заработать немного. А, может, Гарри постарается прийти пораньше? Если бы Хаим-Юдл имел что-либо для нее, он, на-

27

верно, сказал бы ей об этом, еще вчера. Она не жалеет, что отказалась взять Санины ботинки. Все, что у них есть, они постепенно выносят из дому, продают и обменивают на хлеб. У Гарри уже ничего не осталось, кроме одежды, которая на нем. За такие ботинки, как у Сани, они могут прокормиться, пожалуй, целую неделю. Совершенно новые ботинки. Не забыть бы ей сделать

новые шнурки для своих ботинок,— обычно по утрам они запутываются, а ведь надо всегда спешить на работу. Да, она, действительно, нерасторопная.

Где-то в углу коридора сверкнула маленькая огненная точка. Она вспыхивает и тускнеет. Это в темноте молча курит человек.

Коридор похож на подземный тоннель, наполненный тенями. Все, стоящие здесь, поднялись из своих постелей, подгоняемые горем и страхом. Каждый ждет окончания комендантского часа, чтобы успеть куда-то сбежать: кто в «юденрат», кто к посреднику. Каждый хочет узнать, что с мужем, женой или сыном, взятыми вчера из дому, находятся ли они еще в гетто, удастся ли повидать их, покуда их не услали.

С противоположной стороны улицы, из ворот, что напротив, высовываются головы людей, осторожно следящих, не прошел ли кто-нибудь по улице. Они хотят узнать, можно ли уже выходить. Как только зажжется первый предрассветный луч, тени, как сумасшедшие, ринутся к воротам. Как только решится бежать один, остальные побегут ему вслед. Горе, до того скрытое в квартирах, прорвется наружу шумом и возней и заполнит своим кошмаром все улицы еврейского квартала.

Теперь эти тени ждут появления дневного света. Но в гетто день не спешит заняться.

Ближе к вечеру, около пяти часов, когда вечер как бы невзначай подкрадывается, и приближается комендантский час, опять начинается беготня. Ворота гетто закрываются, и немцы начинают искать свои очередные жертвы. Следят. Если человек опоздал на одну минуту

28

он уже никогда не вернется в свой дом. Часовой мастер Гринберг, что живет напротив, был схвачен в нескольких шагах от своего дома. На следующее утро его жена ждала окончания комендантского часа, чтобы успеть сбежать и узнать, удастся ли ей еще увидеть мужа до того, как его отправят.

Около пяти часов вечера людское горе опять вливается в квартиры, Угрюмое, оно ползет со стен, наваливается на человека и подносит ко рту его ядовитую чашу печали.

Коридор наполняется тенями, еще и еще. Даниэле, может, лучше подняться в свою «точку»? Ведь когда все ринутся наружу, она, так или иначе, все равно уступит свое место. Она шагнет всего несколько шагов, и ее ботинки наполнятся водой. А что ей делать сейчас? Ведь в своем еврейском квартале Гарри еще нельзя показываться, нельзя еще выйти за ворота. Зачем же она пришла сюда? Но если бы она могла спать. Если бы там можно было бы зажечь огонь! Ее выгоняет оттуда мгла. Здесь мгла живая, она дышит.

Тени, опережая одна другую, идут из разных дворов и поглощаются темнотой и мраком коридора. В каждом из трех дворов дома Гелера живет людей не меньше, чем на улице Мегурия в промышленном центре. А количество евреев, живущих в этих трех дворах, вне всякого сомнения не меньше, чем евреев в довоенном еврейском городке. Она ведь своими глазами видела всех евреев Ябловы, согнанных на базарную площадь. «Все евреи наружу!!!». «Все на рынок!» — Воспитательница их класса была готова выйти с девочками к немцам:

— Что плохого мы сделали немцам? Они ведь люди! Мыслимо ли, чтоб они не понимали?!

В учительской промышленного центра учитель Верник крикнул:

— Это не иначе, как злостная агитация биржевых спекулянтов. Никакой войны нет и не будет!..

29

Как будто все зависело от него. Как будто весь мир — его класс, все люди — его ученики, а он — их наставник.

— На последнем педагогическом совете мы решили организовать экскурсию, и это решение выполним во что бы то ни стало, — победоносно закончил он свои слова.

Немцы...

Она впервые видела немцев. Никто из девочек до этого не видел их.

«Зачем немцам причинять нам зло?» — не могла сообразить воспитательница класса. Учителя Верника тогда сильно ударило о плиточный пол. Минуту до этого он стоял вместе со всеми. Как это немцы увидели его снаружи? Он ведь только взглянул в щель форточки; даже стекло не разбилось.

...Со двора в коридоре появился человек небольшого роста с большим пустым мешком на плече. Ноги втиснуты в тяжелые сапоги выше колен. Он шаркал ими по выстланному плитками влажному двору. Приблизившись к мглистому коридору, он задержался. Тут-то и узнала его Даниэла: Шладек! Сын того еврея, которому немцы выжгли на лбу слово «еврей». Она его видела

несколько месяцев тому назад в этом же дворе; он шел следом за матерью, тянувшей на себе своего раненого мужа. Он тогда выглядел лет на шесть — семь. Теперь он стал еще меньше, будто усох. Иногда и Даниэле кажется, что она уже старуха, сморщилась, волосы поседели. Но, вглядываясь в зеркало, она к удивлению своему убеждается, что красота ее не поблекла, напротив, она стала еще красивее, расцвела, а волосы золотятся и завиваются локонами куда более пышными, чем, раньше.

Шладек пробрался в общий коридор, остановился в темноте и затем исчез. Даниэла как бы видит кровоточащее лицо его отца, обнаженную, разбитую, окровавленную голову. В тот день его отец отправился к немцам просить разрешения взять из квартиры кровать и одеяло для ребенка. Немцы набросились на него и раскаленным

30

железным прутом выжгли ему на лбу «еврей», а на груди — «Хайль Гитлер!» Только после этого ему разрешили убежать. Когда «юденрат» собрал всех больных гетто для отправки их транспортом, отец Шламека, перед тем как войти в машину, быстро снял с себя сапоги и бросил их мальчику:

— Шладек, следи за мамой. Не...

Вблизи кто-то прошаркал в темноте, приблизился к воротам, высунул голову наружу и вернулся тихо на свое место. Со двора прорвался сквозняк, обдавший коридор влажностью, словно ощупывая своими прохладными пальцами стоящие у стен человеческие тени.

На улице влажный снег повис в воздухе, словно засыпая при своем падении.

Даниэла приподняла воротник плаща, повернулась и поднялась в «точку».

Свеча, блеснув, отбросила тень из-за жестяной миски. Двойра стояла в углу комнаты. Над свечой она держала судок и подогревала еду для ребенка. Тень отбрасывала силуэты на ближайшую стену. Даниэле казалось, что громадный гестаповец Линднер распростерся на стене в своем черном мундире и тянется длинными ручищами к ее горлу.

Хаим-Юдл стоял перед открытым ящиком в одном белье. Он вытаскивал куски войлока на пол, вглядывался в их цвет при отраженном мелькающем свете свечи и клал один кусок на другой; затем связывал ленты головных уборов на деревянных катушках, измерял их длину и опять складывал в ящик. Так по несколько раз — из ящика на пол, с пола обратно в ящик, словно получая удовольствие от этого занятия. Даниэла сидела на краю своей кровати в плаще с поднятым воротником. Она никак не могла определить, будет ли у Хаим-Юдла для нее какая-либо работа сегодня.

Хаим-Юдл — мужчина религиозный, проворный и старательный. Ему удалось бежать сюда с женой и ребенком в

31

самом разгаре «акции». Невозможно даже представить, как ему посчастливилось бежать с одиннадцатимесячным ребенком на руках. Во время этого бегства его жена Двойра оглохла, и до сих пор слух ее не восстановился.

Хаим-Юдл покупает и продает все, что подвернется под руку, с единственной целью, как-нибудь добыть кусок хлеба для семьи, для «виллы». Сейчас он торгует войлоком, заготовками женских и мужских головных уборов, ременными полосами и искусственным шелком для шляпок. Когда Хаим-Юдл пришел в «точку» на жительство, то сразу поставил в углу комнаты загородку и живет там вместе с семьей в своей частной «вилле», как он говорит. Там у него кухня, столовая, спальня, детская для Бэлы, его девочки, и — самое главное — лавка. Ящик служит ему одновременно столом, столовой и торговым заведением.

Часто, когда ему нужно переправить что-либо покупателю или купить товар, Даниэла наматывает на себя десятки метров лент для шапок и отправляется с запретным товаром, прикрытая своим широким дождевиком. Хаим-Юдл хорошо платит ей за эту услугу. Оба хорошо знают, какая опасность угрожает им, если она попадется: тут пахнет смертью.

На кровати против Даниэлы сидит Хана из Тщепина. На коленях у нее молитвенник. Она всматривается в оконные стекла, ожидая восхода солнца, чтобы начать утреннюю молитву. Нежное ее лицо тускло, а в глазах — печаль. Ее младшая сестра Цвия сидит на другом конце, опираясь затылком о спинку кровати и глядя на маленькую Бэлу, играющую на полу мужским поношенным ботинком.

Обе сестры спаслись бегством, бежав среди ночи во время акции в их местечке Тщепине. Сестры набожные, в прошлом входили в союз «Дочери Иакова» — чистые и нежные души. В первом еврейском квартале живет их брат — Абрам-посредник. Он тоже религиозен, но

совершенно ясно, что если б ему довелось найти клиента, желающего приобрести престол самого господина бога, Абрам

32

запродал бы не только кресло, но и самого Савоафа, сидящего в нем. Мало того, что Абрам не помогает сестрам, он просто бессовестно эксплуатирует их. В их кровати вместо матраца лежат его ткани; вместо перины они покрываются мануфактурой, сложенной в несколько рядов, приплюснутой на углах и прикрытой пестрыми наволочками. Здесь, в «точке», Абрам уверен в сохранности своего товара. Никому в голову не придет искать тут полотно. Немцы не раз делали у него обыск, так как им доносили, что у него еще можно достать вилицийские ткани довоенного хорошего качества. Если бы не Хана и Цвия, куда бы он делся? Абрам по протекции получил разрешение на пропуск и свободно переходит из одного еврейского квартала в другой, торгуя своими товарами. Иногда он дает своим молчаливым сестрам несколько марок. Он вечно в спешке. В «точку» он врывается как ветер, подбегает к кровати и кидает туда кусок ткани. На языке у него вечная присказка: «Клиент ждет... Покупатель ждет...» У него никогда нет времени сказать своим сестрам лишнее слово. Ему кажется, что это чересчур дорого обойдется.

Абрам — отец восьмилетнего сына, которого зовут Бенин. У малыша уже есть определенные обязанности, и он помогает отцу в деле. Бенин — красивый мальчик, расторопный и сообразительный. Каждый раз, когда он появляется с отцом в «точке», он говорит:

— Папа, тетя Хана сегодня еще ничего не ела.

— Чего же они молчат, эти коровы? — сердится Абрам и продолжает наматывать на себя ткань, спустив при этом штаны; он спешит и тут же размышляет: в конце концов, эти «коровы» берегут его богатство. Чужим бы ему платить и платить! Чужие вообще присвоили бы себе весь товар. Ведь ни один человек, даже дошедший до полного голода, не держал бы у себя запрещенные властью товары. А у кого нечего есть, будь он даже праведник из праведников, он не преминет присвоить себе чужой товар. А сам он, разве поступил бы ина-

33

че? К какому суду можно привлечь за такой проступок? Абрам быстро вытаскивает из кармана несколько марок, пихает их в руки сестре, тянет за рукав Веника и бежит: «Клиент ждет...»

Стекла окон вдруг стали голубеть. Даниэла удивилась: как это она не заметила перемену, хотя все время смотрела в окно? В обычный день в этот час она уже сидит в тряпичном зале. Там ни у кого нет времени смотреть в окна. Им не до восхода солнца. Дневной свет не рассеивает темноты в сердце.

Снегопад сейчас более густой... Он похож на вспугнутые толпы людей у вагонов во время акции. Кружащаяся снежинка припала к стеклу и беспомощно растаяла, превратившись в каплю, стекающую вниз, как слеза из синего открытого глаза.

В окне отражается белый кафель облицованной высокой печки. Даниэла не помнит, чтобы печку когда-либо топили. Если бы можно было вползти в нее, пробраться туда, печь могла бы послужить замечательным укрытием во время акции. Когда Гелер строил этот дом, ему в голову не пришло устроить тайный вход в кирпичную печь. А жаль! Если бы он это сделал, то, по крайней мере, у него был бы хороший бункер. Госпожа Гелер не перестает роптать по поводу того, что, мол, все жильцы создают себе богатство, так она полагает, за счет войны, но никто не помнит, что надо заплатить хозяину дома хотя бы несколько марок. Все стало дозволенным! Распушенность! Бесхозяйственность! Нет закона и нет судей! Но кто тут занимается военными поставками, кто тут обогатился — никто не знает, никому не ведомо. Из шестикомнатной прекрасной ее квартиры, из всей изумительной посуды и мебели она пыталась спасти лишь книжный шкаф — единственную память о двух ее сыновьях. Но дружинники «юденрата» выбросили шкаф на улицу вместе со всеми книгами. Они рассудили, что на месте, где стоит шкаф, можно поместить семью. Книги раскрылись, и листья, подгоняемые ветром, уносились и падали в

34

грязь, как подстреленные птицы. Шладек собрал их и устроил ложе для отца, валявшегося в грязи. Никто не вышел на улицу, чтобы помочь занести в дом человека, на лбу которого было выжжено слово «еврей». Кто захочет уступить свою кровать в зимнюю стужу, а самому лечь на холодный пол? В такое время кровать для человека — все: дом, состояние. Кроме кровати у человека ведь ничего уже нет.

Шладек, наверно, уже обходит все дворы квартала гетто, собирает щепки, тащит остатки выброшенной на улицу мебели, забрасывает мешок на свои тощие, детские, слабые плечи и

продает топливо богачам гетто. Его мать прикована болезнью к постели. «Надо бы подняться к ней и помочь чем-нибудь», — размышляет Даниэла.

Шламок старается выйти из ворот точно в минуту прекращения комендантского часа, чтобы успеть обежать дворы до появления конкурентов. Почему он не разбивает книжный шкаф мадам Гелер? Он стыдится это делать в своем дворе. В течение всего дня мадам Гелер смотрит в окно на то, что стало памятью о двух ее сыновьях. Все в тот день хватало книги, выброшенные на двор, и топили ими свои печи. Это были толстые романы и научные книги в переплете с золотыми обрезами.

Девушка, попавшая в «точку» из Освенцима, стремительно вскакивает со своей кровати. Она останавливается, смотрит на облицованную кафелем печь, как будто видит ее впервые. Внезапно поворачивается, нагибается и выхватывает из рук маленькой Бэлы истоптанный ботинок, которым та играет, садится на пол и прячет ботинок за спиной, как человек, укрывающий драгоценный клад.

Ребенок начинает плакать. Хаим-Юдл берет малышку на руки. Бэла заливается слезами, а Хаим-Юдл не знает, что с нею случилось. Все молчат. Хаим-Юдл качает ребенка на руках. Дочь — главная радость его жизни. Несколько дней назад он бегал туда-сюда между кроватями, держа ребенка в объятиях, как умалишенный. Даниэла никак не могла себе представить, что Хаим-Юдл может

35

выглядеть как хищный зверь. Он, не переставая, рычал:

— Пусть весь свободный свет станет искупительной жертвой за эту малютку! Да сотрется память свободного мира!

Гелер, хозяин дома, заходивший к Хаим-Юдлу, сказал ему:

— После войны будет создан мир, и в нем будет господствовать свобода...

— Что мне свободный мир, — визжал Хаим-Юдл, если меня уже не будет и не будет моей девочки?! Да сотрется с лица земли мир, который требует невинную кровь моей Бэлочки!..

В углу, около двери, девушка из Освенцима вытаскивает ботинок из-за спины, прижимает его к груди и со своего места на полу протягивает его Хаим-Юдл дрожащей рукой, как бы расставаясь с драгоценным кладом. Девочка взглянула на ботинок, как на волшебную игрушку, и сразу перестала плакать.

— У тебя доброе сердце, — говорит Хаим-Юдл девушке.

Девушка опускает голову на колени и бормочет:

— Не хочу...

Эта девушка принесла с собой ботинок, бежав из городка Освенцим, когда немцы выдворяли оттуда всех жителей для постройки концентрационного лагеря. Ее возраст трудно угадать. Может быть, ей четырнадцать-пятнадцать, а может быть, она намного старше. Иногда она выглядит девочкой, иногда — старухой. Это прямо-таки колдовство. Когда она тут появилась, жильцы, бывало, подавали ей — кто кусочек хлеба, кто картофелину. И все это из-за свойства ее лица. Даже дружинники «юденрата» не могли остаться равнодушными и поместили ее в «точку» бесплатно. Она ничего не говорит — ни хорошего, ни плохого и глаза ее всегда опущены вниз. Когда ее о чем-нибудь спрашивают, она подымает глаза, усмехается и, бормочет:

— Не хочу...

Еще не бывало, чтобы она заранее не чувствовала о

36

предстоящей акции. Никто не может разгадать, как она узнает об этом, но факт остается фактом — перед акцией она всегда исчезает. Она исчезает из «точки» так же тихо, как и появляется, когда проходит опасность. У нее звериный инстинкт, помогающий чують врага еще издали. Ни один из жителей Освенцима не спасся. Не уцелел ни один из ее родственников. Никто не знает, что она видела там. Она пришла сюда среди ночи, держа в руке истоптанный мужской ботинок.

Что за тайну скрывает она в себе, связанную с этим ботинком, почему так прижимает его к сердцу?

На дворе густой снегопад. Хана стоит лицом к окну и молится по молитвеннику, который держит в руке. Цвия продолжает держаться одной рукой за спинку кровати, а другой, сидя, подпирает голову. Глаза ее задумчиво смотрят на спину сестры.

Хаим-Юдл возится около своего ящика — то выкладывает из него что-то на пол, то с пола кладет обратно в ящик. Почему, собственно, Даниэле не подойти к Хаим-Юдлу и не спросить его

просто, нет ли у него какой-нибудь работы для нее. К чему стесняться, стыдиться? Хотя все ясно, как день: было бы что-нибудь для нее, он бы сам предложил ей. А, может, все-таки она попросит его? Но зачем спрашивать, если у него нет работы? Ведь так или иначе он вынужден будет отказать ей. К чему же вызывать в нем сострадание? А почему, собственно, это называется «сострадание»? Это ведь не более чем высокомерие бедняка... Слова такие знакомые ей, где она слышала об этом, или читала?.. А-а-а! Лебедиха! Она сама писала об этом, изображая лебедиху: «Она погружает глубоко-глубоко свой величественный клюв в воду, грациозно проглатывает кусок, поворачивается и плывет обратно по водной глади, вся величественная, прекрасная — высокомерие бедняка...»

Даниэла сидит на кровати, руки засунуты в карманы плаща. Внезапно ей кажется, что все в этой комнате она видит впервые. Стены, падающий снег, открытый ящик «виллы» Хаим-Юдла, девушка, сидящая на полу около

37

двери в длинной рубахе — что все это значит? Сон?.. И может быть, сейчас услышит она свист отца, которым он будит ее каждое утро, чтобы поднять с постели? Она откроет глаза и увидит его, стоящего на пороге детской комнаты.

Все, что окружает ее сейчас, не более чем кошмарный сон. Как тот сон, в котором она видела себя бегущей навстречу лебедям. Страх от того сна до сих пор не прошел, застрял в ней. Он продолжает жить в ней. Она еще видит Гарри, закутанного в облако; облако белое, как снег, падающий сейчас на улице. Гарри смотрит на нее широко раскрытыми глазами. Сейчас она снова переживает страх от увиденного тогда сна. Ее преследуют! Колокола звонят и гонятся за ней!

С шумом открылась дверь, и в комнату влетела Феля. Рукой она прижимает к боку круглый каравай хлеба. Пальто в снегу. Она бросила хлеб на свою кровать и начала отряхивать с себя снег.

— Клянусь жизнью, в такую погоду, как сейчас, грех послать на двор даже юденратника,— говорит Феля, снимая свой красивый плащ и вешая его на спинку кровати. Комната, которая минуту назад была угрюма и темна, как будто посветлела.

— Люди,— весело говорит Феля,— ведь хлеб сам не залетит в ваши красивые рты. Чего вы ждете? Может, мне накормить вас, как это делает Двойра, кормя свою Бэлочку?

Хаим-Юдл направляется в «кухню», берет в руки нож и передает его Феле.

— Ты, Феля, ведь знаешь, если сама не разделишь хлеб и не дашь каждому его порцию, они все будут сидеть как невесты перед столом. Видать, они привыкли, чтобы матери клали им пищу прямо в рот!

Феля снимает с ног промокшие шелковые чулки, бросает их под кровать, как ненужную вещь, и поворачивается к окну.

— Хана! Бог сейчас дерется со своей женой и в гневе порвал перину. Разве не видишь, как с неба падает на

38

землю масса перьев и разносится во все стороны? А, может, ты оставишь его? Так или иначе, его голова не может внимать твоим молитвам.

Хана двинула слегка плечом, но продолжала тихо молиться. Двигались только ее губы.

— Закрой свой рот, Феля, а то я его сам заткну... слышался голос Хаим-Юдла. — Бездельница... Ложись спать.

— Хаим-Юдл! Ничего, бог готовит тебе свободный, красивый мир. Ты можешь заказать по этому поводу своей жене жирный паштет на субботу.

— Ша, ша! Лучше тебе хорошо выполоскать рот, прежде чем ты позволяешь себе назвать имя того, «кого не стоит вспоминать». Мы ведь все страдаем из-за тебя и тебе подобных!

Феля делит буханку хлеба и бросает каждому кусок на его кровать.

— Если так, — говорит она, — если из-за меня страдают евреи, — то мне в самом деле лучше спать... Доброй ночи, Хаим-Юдл! Спокойной ночи, красивый свободный мир!..

— Спокойной ночи, спокойной ночи! Золотые сны! — отвечает Хаим-Юдл, — может, спеть тебе колыбельную?..

Феля натягивает одеяло на голову.

— Поверьте мне, Хаим-Юдл, что ваша Бэла больше нуждается в колыбельной песне... Свою колыбельную я спою себе сама. Вы не должны себя утруждать.

Она вся закутывается в одеяло и оттуда доносится глухой голос:

Красивых девушек обнимают,

Феля — красивая стройная девушка лет двадцати. Очень рано она стала нравиться мужчинам, и они вертелись около нее, как пчелы возле пчелиной матки. Феля хорошо познала таинства мужской души. Она знала, как защищаться от них и как покорять их.

Она работала официанткой в кабаке в Радне, на ее родине. За легкую ее улыбку Ежи, молодой начальник почты,

39

готов был заложить свою душу. Но Феле его душа была не нужна.

Когда стали выгонять всех евреев из Радни, Ежи предложил Феле свою квартиру. Он не понимал, что Феля пришла не к нему, а только воспользовалась возможностью укрыться от немцев. Но он знал, что она у него дома, и это уже было для него счастьем. Как только немцы вывесили плакаты с предупреждением: «Каждый укрывающий еврея — приговаривается к смерти!» — Ежи приказал ей оставить его дом. Она ведь сама понимает, что не может дальше оставаться у него. Феля только посмотрела на него и промолчала. Что она могла ему сказать? Ежи был доволен, что Феля понимает положение. Что она — маленькая девочка, чтобы не понимать этого? Об одном она просила его: чтобы он разрешил ей остаться в его доме до вечера. В тот вечер, когда Ежи, как и другие католики, поставил в окне своей квартиры икону святой матери с горящей лампадой, в знак того, что тут живет чистокровный ариец — Феля тихонько открыла дверь и ушла из дому, не сказав ни слова. Она кралась по тихим, пустым улицам, направляясь полями к давнишнему знакомому милиционеру еврейского третьего квартала.

Теперь она плюет на все, на весь мир...

— Жизнь не стоит того, чтобы такая девушка, как я уронила хотя бы одну слезу! — говорит она. Ежедневно вечером она выходит приятно провести ночь в здании «юденрата». Утром она возвращается в «точку» и приносит с собой буханку хлеба. Хлеб она приносит не для себя. Ей хлеб не нужен. Бывает, что она приносит с собой и пачку маргарина. Обе религиозные девушки спасают себя хлебом, что приносит Феля. Если бы они до конца понимали, какой платой рассчитывается она за этот хлеб, возможно, они и не захотели бы притронуться к нему. Но они еще живут в чистом и ясном мире.

Часто Феля приносит с собой пару новых тонких шелковых чулок. Она натягивает эти чулки на свои красивые стройные ноги и, вытянув их вперед, глядит на них, как полководец, проверяющий свои ряды. Убедившись, что ее вооруже-

40

ние в неплохом состоянии, она опускает ноги на пол, насвистывая веселую песенку.

Даниэла имеет право взять старые чулки, брошенные Фелей, если только пожелает. Феле это безразлично. У нее их много. По ней — так они могут даже гнить под кроватью. Феля — человек щедрый. У нее одна просьба: дать ей поспать. В течение всей ночи она не сомкнула глаз. У Моника, главы «юденрата», вчера была гулянка, и эти негодяи не отставали от нее в течение всей ночи...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Они сидели на каменных ступенях.

На Гарри одежда была такая мокрая, будто его только что вытащили из воды. Продолав длинный путь по полям, под сыплющимся снегом, он промок до костей. Он пытался расстегнуть свою куртку, но безуспешно — пальцы оконечели и не повиновались. «Эта зима — наказание божье. . .» — сказал он.

Даниэла видела, как с погнутой и помятой его шапки капли падают на спину, плечи и впитываются в его влажный плащ. Ей хотелось снять шапку с его головы, но руки не слушались.

Гарри закатал полу плаща и старался вытащить из брючных карманов что-то завернутое в бумагу. Даниэла смотрела на его усилия, и ей совсем не приходило в голову, что она должна помочь ему. Она легко смогла бы вытащить сверток из бокового кармана его брюк.

До его прихода у нее всегда накапливается множество слов. Но в минуту встречи язык отнимается, и все накопившееся куда-то исчезает. Все то, что надо было сказать ему, забыто. Она чувствует себя, как наполненная до самого верха бутылка, которая снаружи выглядит пустой.

Хлеб, вытасченный Гарри из кармана, мокрый от дождя, и повидло на обоих кусочках

размазано и выглядит, как помутненный зрачок глаза. Гарри снял бумагу с бутерброда и протянул ей.

41

— Кушай, Даниш.

Она глядела на его протянутые костлявые и влажные руки, трясущиеся, как у старика, и поспешила взять хлеб.

Обычно, когда она думает о нем, она его видит таким, каким он был раньше: красивым, тщательно одетым, обаятельным. А когда она его ждет и когда мысленно ведет с ним беседу, она видит его только таким. Она не может представить себе другого Гарри. Но в ту минуту, когда Даниэла видит его около себя, у нее начинают трястись колени. Она не узнает его лица. Проходит какое-то время, пока глаза ее привыкают к нему, и она убеждается, что это Гарри, это его лицо.

Мокрый снегопад прекратился. Гарри молча смотрел перед собой. Деревянный забор площади, голые деревья — как рисунок карандашом на серой бумаге детьми из детского сада. Одна за другой спешат жены чиновников «юденрата», в руках у них наполненные корзины, тщательно укрытые от чужого взгляда. В недавние времена в этом доме помещалась еврейская школа, теперь она превращена в склад снабжения «юденрата».

Гарри смотрел в сторону площади.

— Утром мне казалось, что я не смогу прийти сегодня. Эта зима — просто бич. Как хорошо, что она скоро кончится, — сказал он.

Даниэла медленно подняла глаза и почувствовала удушье в горле. Она искала и надеялась найти в чертах его лица хоть слабый намек на прошлое, но напрасно. Вокруг его головы клубилось горе, как дымное облако. Всегда в зимние месяцы, когда Гарри, бывало, приезжал погостить к родителям, они ходили вместе на каток. Никто так красиво не катался, как он. Все смотрели на него с удивлением, а ее сердце переполняла гордость. Она хотела, чтобы зима не кончалась никогда, чтобы Гарри не уезжал от них...

У окошка, где бесплатно выдают суп, стоит шум и крик. Голод сплавил людей в громадное людское месиво. Людское месиво в изношенной, грязной одежде, пропитанной

42

сыростью. Каждый из них боится, чтобы окошко раздачи не захлопнулось перед самым носом.

Женщины кричат, их топчут ногами. Мужчины расталкивают слабых, прокладывая себе дорогу к окошку. Дружинники «юденрата» стоят вдали и наблюдают, чтобы к окошку подходили только те, кто уже сдал свой талончик на получение питания. Остальное их не трогает.

Когда гестапо требует людей для очередного транспорта, «юденрат» выбирает их из тех, кто нуждается в бесплатном питании. Уже ни для кого не секрет, куда исчезает уходящий транспорт, и несмотря на это, площадь перед харчевней запружена людьми. Люди перестали задумываться над будущим, им не важно, что будет с ними потом. Им ясно одно: теперь, сейчас, сегодня еще можно бежать в харчевню с пустой посудой в руках и вернуться домой с теплым супом для голодных ребятишек.

Гарри размышляет: «Фарбер находится сейчас в доме раввина из Шилова, старается убедить его, что евреи должны как один восстать против немцев, пожертвовать собой во имя чести народа. Хорошо бы Фарберу придти сюда, на площадь. Тут бы он увидел, как люди идут на самопожертвование ради миски теплого супа. Самопожертвование! А что это значит? Где найти человека, который сможет пойти на самопожертвование, не получив взамен даже единственной миски теплого супа? Фарбер... Кто поможет ему и кто прислушается к его голосу? Эти, которые находятся здесь на площади, наверняка не послушают его. Даже умница Саня не согласна с ним. А он, Гарри? Как он может дать свое согласие Фарберу, когда это может привести к гибели Сани и Даниэлы? А Тедек? Тедек — человек с ясной головой. Тот, кто видел его хоть раз — верит: этот парень знает, чего хочет, и не поколеблется пойти по избранному им пути! Саня тогда сказала: «Тедек не устрасится пойти против самой смерти...» И чего он добился? Кому принесла пользу скрытность Тедека, его пренебрежение? До его выхода из гетто он сказал: «Я оставляю гетто не как человек, способный принести смерть и страдания другим, даже не как человек, прене-

43

брегающий смертью, вслепую идущий ей навстречу, я выхожу отсюда, потому что живу, и мое желание — завоевать жизнь для других!» Разве нам не велено, всем нам, следовать по «проложенной дороге» Тедека? А если это так, тогда прав Фарбер! А с другой стороны, если бы Тедек не ушел отсюда, он остался бы жить среди нас? Итак, права Саня? Да, права! Что служит

источником вдохновения этого рыжего иссохшего парня по имени Фарбер? Что поддерживает внутренний пламень, не оставляющий его ни днем, ни ночью? Каков источник, питающий его убежденность и уверенность? Удастся ли ему убедить шиловского раввина на восстание?

У ворот площади появляется детская тележка. Тележка сделана из плетеной трухлявой щепы. Колеса большие и тонкие. В тележке сидит старик, малыши — мальчик и девочка — толкают ее.

Острые колени старика приподняты, достигая его подбородка и выпирают из тележки. Между ног он держит большой горшок, покрытый сажей. Снег покрывает редкие серо-зеленые волосы старика и ресницы гноящихся глаз. Старик не шевелится. Его уже ничто и никто не беспокоит. Дети катят тележку к раздаточному окошку, к месту, где они должны сдать свои талоны. Мальчик подходит к старику, расстегивает пуговицу его пальто на груди и вытаскивает оттуда карточки. Голова старика остается без движения. Он только смотрит перед собой слезящимися, покрасневшими, как сырое мясо, глазами, на заляпанные, грязные, невымытые окна харчевни...

Даниэле странно, что Гарри молчит. Раньше он никогда не молчал при встречах. Если бы она могла броситься ему на шею и заплакать, ей стало бы легче. Но она хорошо понимает, что ее слезы для него — как соль на кровоточащую рану. Никогда он так не молчал. Он, наверное, голоден, хочет хлеба. Ведь то, что выдают ему за целый месяц работы это так мало, что на эти деньги нельзя даже купить буханку хлеба на черном рынке. И, кроме того, люди боятся получать причитающуюся им «зарплату». Немцы соз-

44

дали такие условия, при которых требуется доказать преданность немцам и отказаться от причитающихся тебе денег; нужно продемонстрировать готовность работать даром, без оплаты... Наверное, и Гарри не получает свой заработок на фабрике Швехера. Не может же он один требовать себе деньги, в то время как все отказываются от них. Она-то время от времени зарабатывает сколько-нибудь. Но, если бы Даниэла отказалась принять от него бутерброд, она причинила бы ему невероятные страдания. Она знает это, она просто уверена в этом. Если бы он только мог представить себе, как эти кусочки хлеба, которые он экономит и отрывает от себя, чтобы дать ей, становятся ей поперек горла! Как она скажет ему об этом? Она ведь знает, как ему хочется, чтобы она поела. Разве она может сказать ему, как плохо он выглядит, как похудел? Что эти два принесенных ей кусочка хлеба для нее куда нужнее ему, чем ей?..

— Саня хранила для тебя это повидло в течение всей недели, — сказал он.

А кто знает, сколько времени сохраняли они для нее эти два кусочка хлеба. Когда Саня, бывало приезжала к ним, весь дом был наполнен радостью и весельем. В те времена она еще недостаточно знала Саню. А вообще, кем она была в те дни?

— Как здоровье Сани?

Этот вопрос вырвался у нее внезапно. Она сама удивилась, услышав свои слова.

— Саня хлопчет в «юденрате», чтобы нам дали возможность поселиться вместе. Не решен только вопрос о работе для тебя. И в этом вся задержка.

В глубине души Даниэла знала, что никогда не согласится жить вместе с Гарри; ведь ясно, что в таком случае на Гарри падет забота и о ее пропитании. Он ведь не разрешит ей выносить на себе мануфактуру ради заработка, а это значит, она не сможет сама заработать на свое пропитание и вырвет из его рта кусок для себя. Нет, нет! Она не примет этой жертвы. Ее еще могут схватить в квартире. Гар-

45

ри, и тогда всех троих отправят в Освенцим. Это просто несерьезно...

— Напрасно Саня старается, это ни к чему не приведет, — сказала она.

— Почему, Даниш? Может быть, будешь работать вместе с Саней;

— На это я никогда не пойду.

Он повернул к ней голову:

— Ты, Даниэла, сделаешь так, как я прикажу!

Даниэле было ясно, что она никогда не подчинится, но она испытывала к Гарри глубокое чувство благодарности.

Когда Гарри глянул на нее, то увидел, что она еще держит хлеб около губ и не притрагивается к нему.

— Даниш, почему ты не кушаешь? — спросил он мягко.

Она посмотрела на него:

— Я съем этот хлеб у себя в «точке».

Гарри положил ей руку на плечо, и она прислонилась к нему. Несмотря на холодящую влажность его одежды, какая-то теплота доходила до ее сердца. Ей надо сказать ему что-то. Но слова не шли. Во всем мире не найти слов утешения ни для него, ни для нее. Ей хотелось заплакать.

— Гарри, — сказала она, — ты никогда не молчал столько...

Он погладил ее по голове. Небо над площадью висело влажное и хмурое. Дом, около которого они сидели, походил на ковчег, плавающий во время потопа, а деревья — на руки утопающих. От места раздачи супа трое малышей вели свою мать, которая была уже в полуобморочном состоянии. Однако она не выпускала пустой горшок из сжатых пальцев. Детишки вели ее и причитали: «Мама! Мама! Мамочка!..» Никто даже не оглянулся в их сторону. А дождь лил и лил, смешиваясь с хлопьями мокрого, прилипающего к одежде снега.

Гарри снова погладил ее по голове. Он смотрел перед собой, в ушах звенели слова: «Никогда ты столько не молчал...»

— Что скажешь, Даниш?

46

Она посмотрела на Гарри:

— Знаешь, Гарри, иногда мне кажется, что все это только дурной сон. Когда-нибудь я проснусь и увижу, что ты вернулся домой из Варшавы, в руке твоей чемодан из светлой кожи и дорожный плащ, перекинутый через плечо. Мы с тобой опять пойдем гулять. Ты будешь стоять у ворот моей гимназии и снимешь шапку с поклоном. Помнишь? Опять скажешь: «Позвольте пригласить девушку на маленькую предобеденную прогулку?.. Слышишь меня? Опять скажешь...»

Голос ее прерывался. Плач застрял в горле. Она старалась крепиться.

— Даниш... Даниш... — утешал он ее с нежностью, — это, конечно, только сон... все это сон... это пройдет...

Она смотрела на него блуждающими, широко раскрытыми глазами.

— Нет, Гарри... это не сон... Нет, Гарри... не сон... Она провела по его лицу дрожащими пальцами, которые ощущали его иссохшие скулы.

— Нет, Гарри... Это не сон...

И разрыдалась. Он не знал, как успокоить ее, что сказать ей.

В коридор, где они сидели, ворвался мужчина, держа обеими руками горшок с горячим супом. Пар бил ему прямо в лицо. Он держал горшок почти у самого рта и черпал из него жестяной ложкой без передышки. Пот, смешавшись со снегом, падал прямо в горшок.

Маленькая девочка лет шести подошла к порогу коридора и остановилась, как вкопанная. Наконец-то она увидела своего отца. Остановилась вдалеке, боясь приблизиться. Девочка была закутана в большой мужской свитер, потрепанный и повязанный веревкой вокруг бедер. В немом молчании она глядела на раскрывающийся и закрывающийся рот отца, беспрестанно поглощавший теплый суп.

— Ты рискуешь каждое воскресенье, чтобы прийти ко

47

мне, а я мучаю тебя своими капризами, — удрученно сказала Даниэла. — Я просто не человек.

— Ну что ты! Ты ведь моя девочка! Мои красивый цветок...

— Знаешь, Гарри, всегда перед твоим приходом мне хочется рассказать тебе тысячу вещей, но потом, когда мы сидим вместе, все улетучивается из памяти. И только после твоего ухода я опять все вспоминаю.

Человек, сидящий в углу, кончил поглощать суп из горшка. Облизнулся, провел губами по жестяной ложке со всех сторон, сунул ее в нагрудный карман и повернулся к выходу. Девочка, стоящая на его пути, свернула в сторону. Он прошел мимо нее, как бы не замечая ее вовсе. Она побрела следом за ним.

По дороге, через несколько шагов, отец повернул голову к девочке, плетущейся за ним и бросил на нее невидящий взгляд:

— О, чтоб тебя земля проглотила!

И продолжал идти. Девочка остановилась, боясь приблизиться к отцу. Он бросал взгляды то на дружинников, то в сторону окошка для раздачи пищи. Видно было, как он старается незаметно проникнуть к окошку и взять еще супу.

— Неужели нет никакой надежды получить весточку от родителей? — обратилась Даниэла к Гарри. — Залка обещал мне, что, если он вернется в столицу, он постарается привезти письмо от родителей и передаст его через Лиона, торговца золотом. Мне нужно заглянуть к нему и справиться, есть ли что-нибудь.

— Не дай тебе бог пойти к торговцу золотом! — сказал он. — Когда ты будешь там, немцы обязательно нагрянут с обыском. Будут искать золото, а найдут тебя. Я, может, найду другой путь связаться с городом. Кое-что мне обещано.

Одна за другой всплывали в ее уме картины и события как отдельные звенья разорванной цепи: Залка, буханка хлеба, наполненная бриллиантами и золотыми монетами; рус-

48

ский «поросенок», Шульце; вступление немцев в Яблowo; лицо удаляющегося отца на железнодорожной станции.

— Хозяин Гелер сказал, что война долго не продлится. Ты хочешь повидать Мони?

Она расстегнула плащ и вынула медальон, висевший у нее на шее. Наивное, чистое лицо, лицо их маленького брата, глянуло на них из рук Даниэлы бархатными глазами.

— Мони теперь исполнилось семь лет, — сказала она.

Гарри взял медальон и повернул его другой стороной. Он увидел фотографию отца и матери.

— У нас самые красивые в мире отец и мать, — сказала Даниэла.

У стены, около веранды харчевни, прямо на земле сидела женщина. Трудно было установить, вышла ли она уже из обморочного состояния или еще смотрит на своих троих детей бессмысленным взором.

Спутанные мокрые волосы, закрывшие лицо женщины, не давали Гарри покоя. Где и когда он видел эту женщину? В таком же положении, сквозь непрерывную завесу дождя и снега? Когда и где это было?

Даниэла продолжала рассматривать фотографии в медальоне. На площади еще стоит детская коляска со стариком в том же окаменевшем положении. Горшок, зажатый между его колен, принял какие-то античные очертания.

Внезапно, как молния, блеснуло воспоминание. Женщина с упавшими на лицо волосами — это ведь после большой акции в гетто. Он прибежал узнать, все ли благополучно с Даниэлой. У вагонов еще орудовали немцы, загоняя в них схваченных евреев, а в гетто из щелей и укрытий уже стали вылезать спрятавшиеся, чтобы узнать, кто из близких остался, кто схвачен и увезен. Они бежали, гонимые ужасом, хотя знали, что еще идет погрузка эшелонов, и немцы могут вернуться в гетто и схватить любого, кто им попадется. Укрытие, из которого вылезла женщина, было сделано наспех, сверху замаскировано ветками, тряпьем, разным хламом. Такое впечатление — словно человек вылезает из могилы. Женщина с

49

растрепанными волосами глядела вниз на рельсы и шептала:

— Слава богу, что их уже увозят! Слава богу!..

Она не переставала хлопать руками и воздавать господу хвалу. А в яме лежали ее дети, как червячки в земле.

У окошка прекратили выдачу супа. Густая, как тесто, масса людей, наполнявшая минуту назад все пространство, стала расползаться. Люди расходились. Маленькие твари. Пустые горшки. Растаявшие человечки среди серости и сырости.

Только детская коляска и сидящий в ней старик, как редкое изваяние, выставленное в пустом зале музея.

Гарри встал и подошел к двери коридора.

— Приближается комендантский час, — сказал он. — Саня будет беспокоиться.

Даниэла подошла к нему. Она все-таки решилась сказать:

— Гарри, обещай мне, что больше не будешь приходить ко мне до тех пор, пока у тебя не будет пропуска. Ты ведь рискуешь жизнью. Не понимаю, как Саня разрешает тебе это.

Он ответил:

— Возможно, меня заставят работать на фабрике по ночам. Работающие в ночной смене очень редко получают выходной день по воскресеньям.

Он больше не придет! Ее охватил жуткий страх! Всеми силами она старалась не обнаружить происходящее в ее душе. Она ведь минуту тому назад сама просила, чтобы он больше не приходил.

— Страшно работать по ночам, — прошептала Даниэла.

Гарри в тысячный раз спрашивал себя: почему руководитель работами — Подек придирается к нему; он ведь всегда выполняет норму. Из всех заготовщиков, работающих на машинах, он выбрал именно его, чтобы перевести в ночную смену! Чем он провинился, в чем грех его? Ему казалось, что никто не обращает на него внимания, что Подек вообще не смотрит на него, и тем более, не чувствует к нему злобы. Почему же вдруг такая перемена?

— Это не так страшно, как тебе кажется, Даниш! Мне только жаль, что я не смогу часто видеть тебя. Не тревожься

50

Я надеюсь, что Сане удастся перевести тебя к нам. Ну, мне пора бежать.

Он обнял ее и поцеловал.

Даниэла быстро сняла плащ и стянула с себя свитер.

— Возьми, Гарри, — сказала она.

— Боже упаси! Что это тебе взбрело в голову?

— Немедленно одень свитер! У меня дождевик, а тебе предстоит длинная дорога.

Она силой стянула с него пальто и всунула его голову в свитер. Господи, как он исхудал, одни кости да кожа. Она сжала губы, чтобы снова не разреветься.

Гарри ушел. Она стояла на краю площади и смотрела ему вслед, пока он не исчез. Перед тем как гора скрыла его, он задержался в последний раз, повернулся к ней и снял шапку.

Эта картина навсегда врезалась ей в память.

...«Будет ли мне позволено пригласить девушку для короткой предобеденной прогулки?...»

ГЛАВА ПЯТАЯ

Зима отступила, но никто не обратил на это внимания. Солнце ведь не высушивает слезы, как об этом образно пишут поэты. Дети на улицах гетто не играли. Были маленькие евреи и большие евреи. Все выглядели одинаково. Дети были обязаны носить специальный знак на рукаве и желтую заплату на груди, так же, как и старики.

Двойра, жена Хаим-Юдла, вышила маленькие желтые заплатки, и одну из них нашила на грудь Бэлочке «Как симпатично... — не переставал хвалить ее Хаим-Юдл И в самом деле, в этой маленькой нашивке есть своя прелесть. Как первые ботиночки ребенка!»

Наступило еще одно лето — этого не замечали и не чувствовали рабочие сапожной мастерской. Но зато чувствовали и знали все, что у буфетчика появился новый компа-

51

ньон. Буфет на чердаке расширялся с каждым днем, и постепенно вырастал в тайное акционерное общество.

Когда-то этот полутемный чердак служил раздевалкой, и человек, служивший там, выдавал рабочим жетон на принятую от них одежду, попутно продавая какую-то подслащенную газированную водичку. Что еще купишь в гетто? Даже этот подслащенный сахаринром напиток считался роскошью и был доступен только «богатым». Сейчас в этом буфете можно купить все, что угодно: жареных гусей, пирожки с сыром, даже пиво и — главное — цианистый калий.

В углу чердака стоит человек с таинственным видом; руки у него в карманах. Входящий протягивает дрожащую руку и как бы спрашивает глазами: «Тут в самом деле достаточная порция?»

Пара других глаз отвечает: «Все в порядке».

«Ты не обманываешь меня?» Человек слегка хлопает клиента по плечу, и его долгий взгляд означает: «Ты можешь быть вполне уверенным».

После этой мрачной церемонии сапожник может начать есть пирожки с сыром.

Откуда здесь берутся такие пироги?

Из глубин полутемного буфета словно кошмарное видение подымается над полом голова буфетчика. Один из компаньонов беспрестанно шепчет:

— «Четверть...» «Покрытый пеной...» «Сладкий...»

Буфетчик ползает где-то там, на полу, взвешивает, режет, делит жареного гуся, вытаскивает пробки из пивных бутылок... Работы много. Его не слышно, он только протягивает руку. Вот «четверть» — четверть жареного гуся: «покрытый пеной» — большой бокал пенистого пива; вот «сладкий» — пирог с сыром в 250 граммов весом. Все это совершается молча. Формы для выпечки пирогов спрятаны в подполье между балками чердака.

На чердак поднимаются в течение всего дня. Поднимаются, опускаются; никто не разговаривает, никто никуда не смотрит. Перед входом стоят тихо дожидаясь своей очереди. Стоят и ждут.

52

Это случилось в одну из погожих летних ночей в конце недели. Немцы напали на портновскую мастерскую Швехера в первом еврейском квартале. Они остановили все машины и взяли людей в трудовой лагерь. Среди схваченных был Гарри.

В сапожной Вевке переходил от одного стола к другому, из одного зала в другой, не находя себе места. Дух гетто проник сквозь стены крепости, называемой сапожной мастерской. Вевке хотел подойти к Даниэлю, сказать ей несколько слов в утешение. Но, остановившись у порога тряпичного зала, он не смог пойти дальше. Увидя наклонившуюся над тряпьем девушку, он растерял все слова. Вевке всегда сполна чувствовал боль других. Нет, лучше сейчас не подходить к ней. Он уселся на скамеечке возле одного из столов, схватил «пару» со стола, взял колодку и погрузился в работу, как человек, зашедший в шинок залить горе.

Люди уже перестали обсуждать события в мастерских Швехера. Каждый замкнулся в себе и терзал себя вопросами, на кого в этот раз обрушится занесенный топор? Когда начнется ближайшая акция? Какая она будет? Нападут ли опять на мастерские? А может, будет акция на детей? А может, на женщин? Бездетные подсчитывали и приходили к выводу, что прошло уже много времени с последней акции на детей, наступило время повторной акции. Имеющие сыновей рассчитывали, что ближайшая акция будет только на девочек. Все эти предположения и подсчеты сводились к тому, что именно его и его семью минет чаша сия. Все были уверены, что после нападения на мастерские Швехера, немцы на длительное время оставят в покое остальные мастерские. Что еще требовалось этим несчастным людям, кроме выигрыша во времени?

Бергсон, кантор синагоги, скосил глаза на молоток в руках Вевке. Как он быстро, с точностью фокусника, вбивает гвозди в узкую матерчатую ленту, окаймляющую деревянную подошву. У него, у Бергсона, «пара» обычно получается или длиннее или короче подошвы. Он старается, чтобы оба ботинка соответствовали размеру подошвы, но сек-

53

реты сапожного дела ему, увы, недоступны. Не однажды застывала у него кровь в жилах: вбивая последний гвоздь, он убеждался, что работа не получилась. А за такой брак Шульце не раз посылал людей в Освенцим. Если бы не Вевке, Бергсон давно угодил бы в этап. Самое интересное, что появляется он в последнюю минуту. Издали Вевке принимает отчаянный взгляд попадающего в беду, садится рядом и спасает ботинок. Это какой-то особый секрет, известный только хорошим сапожникам; никому другому не дано постичь этой глубины профессионального умения. Но сегодня даже Шульце не крадется вдоль стен рабочего зала. Мастерская выглядит погруженной в траур.

Вевке проворно работает и бросает в корзину ботинки один за другим.

«Своей работой он, наверное, хочет подпереть стены мастерской, чтобы они не пошатнулись и не упали», — думает по себе Бергсон.

Два десятка лет они жили по соседству в одном доме, и за все эти годы у него не было повода задуматься над величием души этого Вевке. Впервые он подумал об этом в тот день, когда немцы выгнали всех евреев из домов на улицы. Все плакали, жаловались, причитали — один только Вевке стоял спокойно. Жену и пятерых своих детей он поставил впереди себя, на плечи погрузил сапожный стол, в руки взял ящик с инструментами. На пороге квартиры он остановился на минуту, поставил ящик с инструментами на пол и пальцами, затвердевшими от клея, с трепетом провел по «мезузе». Потом нагнулся, взял ящик в руки и оставил дом, в котором прошла половина его жизни. Оставляя свой дом, он ни разу больше не повернул головы. По улице шли толпы, в воздухе носились крики и плач. Тогда казалось, что нет большего несчастья. Вевке шел в этой толпе, губы его были сжаты, засаленные от работы брюки блестели на солнце, а сапожный стол на его плечах витал над толпой, как шкаф для свитков Торы.

— Евреи, не плакать! — говорил он. — Убийцы смотрят

54

на нас и радуются. Болячки им в печенки! Жалейте себя, евреи, не доставляйте им удовольствия!..

То, что Бергсон работает в сапожной мастерской, он обязан Вевке. Другие за возможность работать тут, дали бы ему большие деньги.

Вевке заканчивает один за другим ботинки и кидает их в корзину. Он спешит, словно желая сделать работу за всех. Раньше здесь господствовали страх и ужас. Вертелся Шульце между столами. Залы были забиты рабочими; их было больше, чем эти залы могли вместить. Тогда никто не смел сделать передышку ни на одну минуту. И все же, лучше бы вернуться к тем временам! Теперь даже счастливицы с рабочими карточками не приходят сюда. Это страшный признак, признак надвигающегося несчастья. Во всяком случае, отсутствие Шульце не предвещает ничего хорошего. Что день грядущий несет с собой?

Между тем, восхождение на чердак продолжается нормально. Бедняки сапожники жрут и выпивают там такое, чего раньше не видели у себя в лучшие свои годы. Люди продают с себя все, до последнего шнурка. Расстаются с последней копеечкой. Не думают о том, что будет «потом», так как никто не знает, будет ли это «потом» вообще. Даже о куске хлеба на завтра они не задумываются, так как никто не знает, будет ли случай завтра купить хлеб. Ведь ночью могут прийти и вытащить его из постели. А если так, то для чего ему хранить последние сэкономленные гроши? Кому он оставит их в наследство? Так не лучше ли подняться на крышу, купить пирог с сыром, четверть жареного гуся и цианистый калий.

Самое дорогое на чердаке — цианистый калий. Кто запасся цианистым калием, тот знает, что ему разрешается съесть пирог.

Почти каждый человек гетто — одинок, заброшен и проклят — без детей, без родителей, без семьи. Но почти у каждого в гетто сейчас есть какие-то деньги. Почти все стали наследниками одежды, белья, посуды родственников, изгнанных и отправленных куда-то. Пока человек успевает

55

съесть доставшееся ему от одного родственника, он узнает, что ему «привалило» наследство от другого. Какая благодать иметь родственников! Раньше не доводилось получать что-нибудь от них, наоборот, они обычно жаловались на тебя, что ты не оказываешь им помощи! Ты идешь в их квартиры и забираешь их последние тряпки, все, что осталось от них.

Нет такой вещи, которой бы поляки не купили теперь у евреев. Манья покупать все без разбору внезапно охватила жильцов ближайших арийских улиц. Прошел слух, что после изгнания евреев из гетто немцы заберут все себе, и потому среди поляков настоящий ажиотаж — они стараются опередить немцев. На улицах арийцев — спешка: все стремятся купить у евреев «дешевку». Они с вожделием глядят на закрытые ворота гетто. Это просто какое-то сумасшествие, вроде эпидемии. В последние минуты жизни евреи становятся богачами. Но цену этому богатству они хорошо знают и спешат скорее съесть свою творожную лепешку.

Внезапно рабочие мастерских будто прозрели: им стало ясно, откуда здесь материал, из которого они шьют обувь. Во время шитья заготовок сапожник вдруг видит, что «пара» выходящая из-под его рук, сделана из клетчатой материи мужских брюк, точно таких же, какие носит он сам. Закройщик тоже внезапно останавливается, и по всему его телу проходит дрожь, когда он кладет руку на стопку заготовок. Когда же он проходит мимо открытой двери склада, его глаза останавливаются, помимо его воли, на нагромождении поношенной одежды. Ему кажется, что это человеческие тела; тела его самого и людей, работающих вместе с ним.

— Мои «мастера» исчезли куда-то, — громким голосом говорит вдруг Вевке в пустое пространство зала. — Что будет, если вдруг Шульце заглянет сюда? Только его не хватает сейчас!

Он срывается с места и устремляется на чердак.

Когда Вевке достигает верха, он останавливается, как

56

вкопанный. Прежняя боль, несколько утихшая после напряженной работы, опять душит его. Увидев, что перед дверью, которая ведет на чердак, стоит Даниэла, он забывает, зачем пришел сюда. Он подходит к ней, берет ее за руку и безмолвно сходит с нею вниз.

Она не сопротивляется, ступает молча. У Вевке нет слов, которые могут уменьшить ее печаль, съедающую и его сердце.

Просто рука, которая ведет ее, как будто, является проводником тепла и любви. Как человек, желающий спасти птенца, выпавшего из гнезда и не умеющего взлететь, он нежно гладит ее.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Даниэла порола легкое летнее пальто. Вечернее заходящее солнце пробивалось в окна тряпичного зала тусклыми отсветами, лезвия в руках женщин отсвечивали красным цветом крови.

Гарри сидел около нее. Она учила его искусству пороть одежду.

— Видишь, Гарри? Присмотрись хорошенько. Ногой наступают на один конец — вот так, а второй крепко держат под левой мышкой. Пальцами левой руки натягивают вещь, как...— она хотела сказать, «как скрипку», но это сравнение показалось ей неуместным сейчас. Ножом, что в правой руке, легко ведут по шву — туда и обратно, по натянутому шву. Ты понял, Гарри?

— Это не так сложно понять,— ответил он.

— Я всегда мечтала, что мы будем работать рядом, — сказала она.— Я думала, как было бы хорошо, если бы ты сидел рядом со мной! В этой мастерской работают сотни людей. Разве мы не можем работать вместе? Скажи, Гарри, тебе хорошо рядом со мной?

Гарри наклонил голову над одеждой.

— Тебе хорошо?— опять спросила Даниэла.

— Говори тише, — сказал он, не подымая глаз от ра-

57

боты.— Слышно каждое слово. Разве можно тут разговаривать?

— А почему бы нет? Здесь полная свобода. Здесь хозяин — Вевке.

Ножи блестели, как смазанные кровью, отражаясь в огненном кругу солнца. Казалось, что они режут не одежду, а живое существо. Даниэла удивилась, что может смотреть на этот свет, на это солнце, не зажмурив глаза. Раньше стоило ей только глянуть на солнечные лучи, как глазам сразу становилось больно. Тут солнце мягче, холоднее.

— Гарри, ты видишь солнце?

— Разве это солнце? Только подделка,— сказал он и опять не поднял глаз.

— Тебе все кажется обманом, маскировкой. Он ей не ответил.

— Гарри,— сказала она,— и я тоже теперь ни во что не верю. Мне ведь сказали, что тебя угнали с транспортом. Если б это было так, разве ты сидел бы здесь рядом со мной?

— Отправляют с транспортом или не отправляют — это уже не имеет никакого значения,— ответил он, не отводя глаз от работы.

Она не поняла намека. В последнее время ей кажется, что то, что он говорит, до нее не доходит, непонятно ей. Она раздумывала: возможно, его на самом деле отправили, но по дороге ему удалось бежать, выпрыгнуть из вагона. Вот, например, Штекельман, один из квартирантов в доме Гелера, ведь выпрыгнул из вагона на полном ходу и вернулся в гетто, а в его теле сидят четыре пули. Кто знает, может и в Гарри стреляли во время его побега, а он скрывает?

— Я хотела купить цианистый калий,— сказала она. — В нашем буфете им торгуют. Ты никогда не ходи туда, на чердак! Обещай мне, Гарри!

— Никогда — почему? Все это ведь обман. Им только деньги нужны. Вообще все, что они продают и предлагают — обман и жульничество. Даже их смерть.

58

— Как так? Не понимаю...

— Чего тут не понять?— вспыхнул он внезапно. — Все теперь перемешалось. Жизнь и смерть переплелись воедино. Весь мир во лжи. Ложь и самообман. Чего тут не понимать?

Он говорил быстро и возбужденно. Ей казалось — словами из ее дневника.

Может быть, он читал ее дневник украдкой? Если это так, это нехорошо, но на Гарри нельзя сердиться. Ей не хотелось чем-нибудь омрачить переполнявшее ее чувство счастья. Так хорошо сидеть рядом с ним. Ведь достаточно вспомнить ту минуту, когда ей сказали об отправке Гарри — эта была страшная минута.

Гарри повернул к ней голову:

— Давай, я покажу тебе фокус. Особенный,— и он стал с трудом вытягивать из кармана брюк сверток. Она глядела на кончик пакета, почти уверенная, что это хлеб для нее. Он с трудом вытягивает сверток, раскрывает его, и оттуда показывается истоптанный ботинок той девушки — из Освенцима. Гарри одной рукой схватил ботинок за носок, а другой сорвал с него подошву. Два ряда деревянных белых гвоздей — нижний и верхний, напоминали клыки во рту крокодила.

Это несколько не поразило ее. Она только собралась сказать ему об этом, как внезапно показался хромой Шульце, направляющийся к ним быстрыми шагами и вытянув кончик своей палки. Как оса, прежде чем ужалить свою жертву облетает ее, так и палка Шульце с резиновым наконечником водила по воздуху около лица Гарри, как бы отыскивая подходящее место для удара.

— Этот ботинок попал сюда из Освенцима и туда же он вернется. Но вместе с тобой, мой милый!

Она чувствовала, как пальцы Гарри сжимают ей руку. Они быстро побежали к большому обувному складу. Там, за скамьями, на которых была выстроена рядами обувь, они спрятались. Даниэла знала, что сюда придут ищeyки и найдут их. Она хотела спросить Гарри, что это ему вдруг

59

вздумалось разорвать «ботинок и превратить его в пасть крокодила.

Через открытую дверь показались немцы в черных мундирах. Это пришли за ними. Колени Даниэлы начали бешено дрожать. Солнце бросало снопы красных лучей на ряды выстроенных ботинок, походившие теперь на ряды ступающих ног, сочащихся кровью. В мозгу Даниэлы мелькнула мысль: может быть, их не так скоро накажут, если они сами выйдут из своего укрытия? Как бы в ответ на эту ее мысль, Гарри распахнул окно, и они выскочили во двор, пустившись бежать по направлению к шоссе, где густо росли деревья. Вооруженные немцы на мотоциклах ездили по шоссе туда и обратно. Теперь они оба — на арийской стороне, там, где евреям строжайше запрещено находиться. Гарри сорвал со своей одежды желтую лату. Видя, что Даниэла не решается сделать то же самое, он и с нее сорвал желтую звезду. Они бежали среди мелкого кустарника, руками раздвигая мешавшие им ветви. Колючки кустарников царапали Даниэлу по лицу. Она выбилась из сил, ноги отяжелели и не слушались.

— Крепись! Набери силы!.. Если ты не сможешь бежать, будет плохо!.. — подбадривал ее Гарри на бегу.

— Гарри, беги! Спасайся сам!..

— Собери силы! Не поддавайся! — кричал он ей, обернувшись.

...Яблова роща! Как тут появилась Яблова роща? Среди деревьев слышна немецкая речь. Она слышит голоса врагов. Где бы им укрыться? Как бежать отсюда? Где Гарри? Она опять не видела его около себя. Она уже не могла нести свои ноги. Она встала на колени и почувствовала, что погружается в глубокую-глубокую яму. Внезапно она услышала топот ног...

Даниэла отчетливо слышала, как немцы приближаются, но, словно пригвожденная, не могла пошевелить ни одним пальцем. Топот сапог приближается, он уже у самого уха. Повернув голову, она видит Шульце. На голове у него черная гестаповская каска. Он направляет между ее глаз чер-

60

ную резину палки. Палка вытягивается и вытягивается до бесконечности. Даниэла хочет крикнуть, но голоса нет, горло сжалось. Кружочек резины все увеличивается.

Внезапно она увидела Гарри, одетого в тот дождевой плащ, который только сегодня порола. Немцы держат его и заставляют всех смотреть, как они издеваются над ее телом. Гарри падает в обморок. Она кричит: «Гарри!.. Гарри!.. Гарри!..»

В окне стоит полная луна. Даниэла не могла сразу понять, где находится, и еще чувствовала пальцы, сжатые вокруг ее шеи. Белая лунная полоса протянулась прямо в ее глаза — холодный свет, жестокий, высасывающий кровь, как вытянутая палка Шульце. Все тело покрылось холодным потом. Скосив глаза, Даниэла увидела девушку из Освенцима, возвращающуюся в свою постель с черным мужским ботинком, прижатым к сердцу.

Кругом слышался храп и вздохи. Кошмар сна опять охватил ее, стоял перед глазами, как кадр из фильма.

Полоса лунного света сдвинулась и поползла на белую керамику печи. Кафель вернул луне свой холодный рассеянный взгляд.

Даниэла беззвучно заплакала. Она почувствовала себя ужасно беспомощной и никому не нужной. Ее жизнь казалась ей не лучше кошмарных ночных видений.

Послышались шаги по мошeному двору. Рассветал воскресный день, который не сулил ей ничего хорошего. Она села в кровати и начала одеваться.

Она распутала узлы на шнурках своих высоких ботинок. Такие же ботинки были и у Риши Маерчик. Они одновременно заказывали у сапожника. Когда Даниэла убежала с Яблового рынка, она еще не знала, что Риша застрелена. Только вбежав в лес, она увидела Ришу, истекающую кровью. Ни в один дом не разрешили ей принести раненую; только старик-поляк указал на дом жестянщика Срульчи: «Иди к нему, — сказал он, — может быть, он еще жив». В потайном углу спрятались в мастерской жестянщик и его жена. Укрытые сверху всяким железным хламом и ржавыми железными лис-

61

тами, и муж и жена сами выглядели поржавевшими. Он сказал жене: «В Ябловой роще истекает

кровью еврейская девушка...» Из глаз его жены лился немой крик ужаса. «Я пойду», — сказал жестянщик.

Она посмотрела на него, не издав ни звука.

Опять слышались звуки шагов по двору. Даниэла раздумывала: Штксльман прыгнул с поезда. Может быть, и Гарри так поступил? Может, она еще увидит его в поле и побежит ему навстречу, как всегда? Образ Гарри снова всплыл в ее воображении. «Все в жизни только сон»... Неужели и то что Гарри отправили в концлагерь, тоже сон?

Она спустилась вниз, к воротам.

Ночь отступила.

Одна за другой появились тени из всех трех дворов. Она была одной из них. Как другие, она спустилась сюда, потому что несчастье выгнало ее из кровати. Их скорбь — ее скорбь, их изломанная жизнь — ее жизнь. В голове ее мелькает шальная мысль: может, еще придет Гарри? Она не хочет верить, что никогда не увидит его больше. Как и тысяча других, она знает и понимает, что не нужно приходить сюда, что в этом нет никакого смысла, и им уже не увидеть лиц дорогих им людей. Кого среди ночи выхватывают из дому, тот исчезает навеки. Все это так, но никто не хочет верить...

В последнее время дружинники перестали проверять, не ночуют ли чужие в «точках». Они просто вытаскивают людей из их кроватей. Но удивительней всего, что они еще оставляют незаконных в «точках». «Незаконные!» Это слово звучит как насмешка сатаны. Кто в наши дни не является незаконным? Вот Гарри — «законный» — отправлен, а ее — «незаконную» — оставили. Недавно еще рабочие сапожных мастерских были уверены в своей безопасности, а теперь они уже в лагерях смерти. А ей еще дают по ночам спать на своей постели. Смерть косит вслепую, но никогда не промахнется. Ей безразлично, кто падет первым, кто пока задер-

62

жится. Но уцелевшим сегодня кажется, что смерть будет всегда обходить их.

Говорят, что теперь в гетто Конгрессии тихо, спокойно. Там все работают на одном большом предприятии. Ее родители, наверное, живут там в одной большой комнате вместе с другими. Мони носит золотую заплату на сердце. Может быть, папа тоже устроил себе «виллу», как тут Хаим-Юдл, а может, они живут отдельно?

Вымощенные во дворе камни блестят, как вымытые. Ночью, наверное, шел дождь. Как это она пропустила восход солнца? Она ведь все это время сидела и смотрела в окно. Вот здесь, на этом самом месте, где она стоит сейчас, лежал человек, которому на лбу немцы выжгли слово «еврей». Шладек был отправлен транспортом вместе с матерью. Они оба нуждались в помощи и питании из харчевни «юденрата». Хорошо, что они ушли вместе. Там, может, ему удастся ухаживать за матерью. В последние дни она очень болела. Если бы Даниэлу услали вместе с Гарри, она пошла бы со спокойным сердцем. Гарри в последнее время выглядел больным. Если бы она точно знала, где сейчас Гарри, она сама пошла бы к немцам и попросилась отправить ее к нему.

Госпожа Гелер не устает охранять остатки книжного шкафа. Целыми днями она не спускает с него глаз. Двери чулана, куда закинута остаток шкафа, уже сорваны и унесены. Но из открытого проема еще мелькает память о двух ее погибших сыновьях.

В углу третьего двора стоит маленький шалаш Вевке. Отсюда шалаш похож на дремлющую курицу, усевшуюся на перекладину лестницы.

Вставшее утро глядело на стенки и крышу этого убогого шалаша, как глядят на ребенка в гетто после «акции», которого забыли присоединить к родителям. Даниэла сидела около горы мусора и хлама, выброшенного из комнат, и вдруг сама себя ощутила мусором, выброшенным на мусорную свалку. Ей было жутко тоскливо и хотелось плакать. Ей так нужен был человек, которому она смогла бы упасть на

63

грудь и выплакаться; почувствовать его теплоту, увидеть милосердный и близкий взгляд.

Человек! Человек! Тоска по человеку...

Когда отправили Тедека, она не так переживала. Теперь это стало ей ясно. Но Вевке, он безусловно чувствовал и переживал тогда точно так же, как и она сейчас. Она не догадалась тогда подойти к нему, сесть около него, хоть один раз постараться утешить и вместе с ним погоревать. Как же она теперь может желать, чтобы кто-нибудь сострадал ей.

Пространство вокруг харчевни было пусто, окошко раздачи заколочено гвоздями. Непохоже, чтобы тут раздавали людям суп.

Даниэла стояла на краю площади, где каждый уголок напоминал ей о Гарри. Весь воздух здесь был пропитан памятью о нем. Но самого Гарри не было.

Поля опустели, запущенной и угрюмой выглядела гора. Даниэла уже не сомневалась, что Гарри не придет. Но глаза не переставали смотреть вдаль: вот еще минута, еще секунда, и там появится маленькая точка.

Даниэла не могла больше стоять на опустевшей площади. Какая-то сила толкнула ее, и она побежала в ту сторону, откуда брат обычно появлялся и откуда больше никогда не появится.

Гору она не разглядела. По мере приближения к ней, та отступала, словно таяла. Постепенно исчез из виду третий еврейский квартал.

Слева тянулись железнодорожные рельсы, блестящие на солнце, как вытканые серебряные нити. Далеко виднелись два дерева и около них одинокий дымящийся паровоз, издали похожий на детскую игрушку.

Она продолжала бежать.

Дважды довелось ей быть в доме Гарри. Когда спекулянту Абраму подвернулись важные клиенты, она упростила

64

его дать ей пронести мануфактуру в первый еврейский квартал. Дело было не в зарплате, а в тех нескольких считанных минутах, которые она смогла бы провести с Гарри.

...Даниэла открыла дверь в его комнату. Все здесь казалось ей чужим. Фарбер, сидевший в комнате, взглянул на нее, встал ей навстречу и повел к стулу, как ведут человека, находящегося в обморочном состоянии. Ее приход сюда казался ему естественным и понятным.

Сдержанной болью и тоской был пропитан воздух в этой комнате. Саня сидела на раскладушке, повернувшись лицом к пустой постели Гарри, и не спускала с нее глаз.

В комнате царил запустение. Из мебели почти уже ничего не осталось: ни шкафа, ни кровати — все было продано в обмен на хлеб. Только в углу еще стоял малюсенький шатающийся столик и старая железная печь без трубы. На косяке двери, на длинном торчащем гвозде, висел плащ Гарри, тот самый плащ, в котором он обычно приходил к ней. Над плащом — шапка.

У Даниэлы возникло желание подбежать и обнять плащ. Рукав спускался округло, как живой; только внизу виднелась его пустота и смятость.

Около семи дней прошло, как угнали Гарри, а комната все еще выглядела так, будто на полу ее лежит мертвец, Саня одета в свое синее рабочее платье. Волосы аккуратно причесаны, но лицо восковое.

Никогда бы Даниэла не могла представить себе Саню такой. А может, Гарри еще вернется? Вевке ведь не перестает твердить, что Гарри обязательно вернется. Она должна попытаться утешить Саню.

Фарбер сидит молча, уставившись в одну точку. Горе билось по комнате, и с оголенных стен сочились слезы. Сколько времени прошло с тех пор, когда все они сидели за одним столом. Саня наполняла весь дом своим весельем и смехом. При ближайшей «акции» отошлют и ее, как обычно поступают с женами, мужья которых уже отправлены. Кто теперь будет смотреть за Саней? Кто будет оберегать ее?

65

Саня встала, подошла к окну. Ставня была закрыта. Там теперь все ее хозяйство. Она развернула белую скатерть, в которой было полбуханки хлеба, нож, разложила все перед Даниэлой и сказала:

— Кушай, Даниш...

Даниэла подняла на нее глаза и не смогла больше сдерживаться. Она упала, прижавшись к Сане, и громко разрыдалась.

Саня стояла без движения. Только прижала голову Даниэлы к себе. Это был плач о дорогом для обеих человеке, которого каждая по-своему любила больше всех на свете.

Саня продолжала стоять застывшая, без единого движения.

— Гарри вернется, Саня. Война закончится...

Саня приподняла голову Даниэлы обеими руками. Глаза Гарри и Даниэлы были похожи, как две капли воды. И не только глаза: тот же очерченный рот, та же белизна зубов, та же ямочка под

нижней губой на подбородке.

— Да, Гарри скоро вернется домой,— мягко сказала Саня.

— Ты веришь в это, Саня? — вскочила Даниэла со своего места.— Ты в это веришь?..

— Мне это обещано, я жду...

— Неужели? И, возможно, это случится еще до окончания войны? Ты говоришь это не ради утешения? Кто обещал?

— Всевозможно, моя девочка. Все может быть. Если Гарри не вернется ко мне, я пойду к нему...

Саня сдвинулась с места, поправила скомканную скатерть на столе и взяла в руки стакан, чтобы принести чай Даниэле.

— Какой дорогой ты пришла, Даниэла?— спросила она!

— Той дорогой, по которой Гарри приходил ко мне каждое воскресенье,— ответила она.

— Гарри никогда не выходил в дорогу без пропуска

66

пусть поддельного — все же бумажка! Почему ты так рискуешь? Мало у нас горя без этого?

Вмешался Фарбер:

— Опасность не всегда подстерегает нас там, где мы ее ждем. Гарри ведь не был пойман при переходе из одного еврейского квартала в другой.

— Вы, конечно, не намереваетесь поощрять Даниэлу, чтобы она ходила из одного еврейского квартала в другой без всякой бумажки? — спросила Саня.

— Я полагаю, Даниэла должна присоединиться к «кибуцу». Предвидится большая «акция» в гетто, если не ошибаюсь — на девушек,— сказал Фарбер, повернув голову в сторону Сани.

— Фарбер! — кинулась к нему Саня, — Даниэла ведь работает в сапожной «особого назначения». Что может быть безопасней этого? Оставь, Фарбер, оставь!

Саня вышла в коридор. Фарбер опустил голову и, уставившись опять в ту же точку, замолчал.

Разговор показался Даниэле продолжением резкой перепалки, начавшейся до ее прихода, но оборвавшейся с ее появлением.

Даниэла совсем мало слышала о «кибуце». Она только знала, что слово это всегда произносится шепотом. И еще она знала, что Тедек числился членом «кибуца», а со дня гибели его брата в Славянских лесах он больше не произносил этого слова. Она также знала, что в «кибуце» много таких, у которых нет рабочих карт. Парни и девушки сообщили «юденрату», что они будут сопротивляться всякой попытке отправить их отсюда: «Мы будем убивать любого немца, мы подожжем все гетто вместе с «юденратом»! И, как шепчутся в гетто, Моник Матроз, председатель «юденрата», побоялся этого предупреждения и считается с «кибуцом».

Саня вернулась в комнату, неся стакан горячего чая. Она упрашивала Даниэлу, чтобы та поспешила вернуться в свой квартал, так как теперь, в обеденные часы, удобнее прошмыгнуть из одного еврейского квартала в другой.

67

Когда Даниэла собралась уходить, Фарбер вынул из кармана пропуск и, не говоря ни слова, протянул ей — будет, что показать, в случае надобности.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В «точке» все погружены в глубокий сон. Сон это маленькая передышка в цепи длительных, непрерывных мучений. Только успел сомкнуть глаза — и ночь кончилась, опять надо быстро собираться и идти в мастерские на этот каторжный, изнуряющий труд.

Внезапно стучат в ворота дома...

Когда в гетто вот так стучат в ворота среди ночи, то эти стуки отзываются в сердцах, как звон тревоги. Смерть теперь стучится в ворота. Кто знает, по чью душу она пришла?

Феля, как обычно, спокойна и оглядывается вокруг. На кроватях, слева и справа, сидят люди, окаменевшие от страха. Феля опять смежила веки и свернулась под одеялом, будто происходящее ее не касалось. У нее специальный красивый пропуск, который ей выхлопотал глава еврейской милиции. Она может спать спокойно.

Хана и Цвия, сестры из Тщбина, дрожат, сидя в кроватях. Опасность настигла их во время сна, она ползет по их еще сонным и полуголым телам. Не к ним ли стучатся, не за ними ли

явились?..

Хаим-Юдл мечется в исподнем из угла в угол, заглядывает то в одно окно, то в другое, совсем растерянный. Он никак не может решить, спрятать ли девочку куда-нибудь — спящую, или раньше разбудить ее. Вот кто-то уже выходит открывать ворота! Смерть начинает дышать над всеми.

За себя и жену Хаим-Юдл не боится. Они оба работают в мастерской. Но его сердце разрывается за ребенка: может, это «акция» на детей?.. От мысли, что у него могут отобрать ребенка и куда-то увезти, его сводит судорога! Он мечется между стенами комнаты и не знает, куда бежать, что делать.

68

Жена его Двойра — в последнее время совсем оглохшая — тоже услышала этот стук в ворота. Глухие обычно слышат сердцем, кровью, текущей в жилах. Прежде всего она стала быстро выбирать из ящиков стола все запретные товары: куски меха, ленты, готовые головные уборы — все это она бросает на пол как вещи больше не нужные ей. Пусть немцы их забирают! Пусть ее наказывают за это! Она хватается спящего ребенка на руки и прижимает к сердцу: «Чтобы ребенок только не проснулся, чтобы не услышал крики, не дай господь!..» Она укладывает ребенка на куски меха и закрывает ящик скатертью, чтобы он опять выглядел как стол; выпрямляется, губы сжаты, стянуты; она стоит у ящика и слегка раскачивается, не произносит ни слова, ни звука — только раскачивается.

Хаим-Юдл дрожит, блуждающим взором смотрит на жену, не знает, чем помочь ей. Дрожащей ногой отталкивает в угол валяющийся на полу мех, не решаясь нагнуться, боясь, что больше не подымет, не выпрямится, упадет. Из рта как бы вываливаются жеванные, нечеткие слова: «Сжался надо мной!.. Возьми все, господи, только не лишай меня девочки!..»

Даниэла сидит на своей кровати, смотрит вокруг широко раскрытыми глазами: постель освенцимской девушки пуста!.. За несколько минут до ночной обливки она тихонько исчезла из комнаты и никто не заметил этого. Колеблющийся свет от свечи в «вилле» Хаим-Юдла отражается в окне, как в черном зеркале. Даниэла сжимает челюсти, чтобы остановить стук зубов: у нее ведь специальная карта мастерской «особого назначения».

Напротив нее сестры из Тщевина прижались одна к другой, трясутся и молчат.

Сапоги. Немецкие сапоги, наводящие страх своим топотом, поднимаются по ступенькам лестницы. Подбитые гвоздями подошвы ступают, как по живому телу. Они штурмуют дверь. Взгляд Хаим-Юдла скользит по узким кроватям и упирается в пустую постель освенцимской девушки. Все окаменели на месте, замерли. Шум около двери. Никог-

69

да еще две половинки не открывались так туго. Хаим-Юдл быстро бежит открывать дверь.

Гестапо! Сзади — бело-голубые фуражки дружинников «юденрата».

Гестаповец читает по списку: Феля, девушки из Тщевина, девушка из Освенцима, Даниэла.

Феля быстро вытаскивает из платья свой особый пропуск и протягивает его еврейскому дружиннику: ей ясно, что тут недоразумение, какое она имеет отношение к этому списку?

— Быстро! Скорее! Одеваться! Пошли!..

— Вот моя особая карта, удостоверенная и подписанная главой еврейской милиции,— говорит Феля хладнокровно.

Гестаповец хватается карту, рвет ее на куски и бросает в лицо Феле.

— Быстро! Не мешкать! Пошла!..

Нет! Теперь Даниэла не покажет свою рабочую карточку! Теперь не время. Теперь гестаповец наверняка разорвет ее, даже не взглянув на нее, а чем она потом докажет, что работает в мастерской? Нет, сейчас она не вытащит свою карточку. Лучше она безропотно пойдет за ними, как остальные. Почему так дрожат колени? Вся ее жизнь зависит от клочка этой желтой бумаги с печатью красной свастики. Там, в здании «службы порядка», она предъявит свою карточку. Надо быстро одеться. Одежда падает из рук. Может, завтра утром придет Вевке и вызволит ее из милиции? Она ведь обязана явиться на работу.

— Быстро! Быстрее двигаться!..

Даниэла никак не может вдеть ногу в сапожок. Шнурки высоких сапожков запутались. Вчера, ложась спать, она сняла сапожки, но не привела в порядок шнурки. Она очень устала и оставила это на утро, перед выходом на работу. Черная вороненая сталь револьвера блестит в руке гестаповца. Если кончики пальцев не перестанут дрожать, она будет вынуждена идти босой. Даниэла стремится-

ся унять дрожь всего тела. Не забыть бы взять с собой самое нужное. В сущности, у нее тут ничего и нет. На карнизе кафельной печи лежат три тетради ее дневника, в щели между висячим шкафом и стеной спрятана последняя тетрадь. Если бы Хаим-Юдл смог тут же сообщить Вевке, что за ней пришли, чтобы отправить ее в концлагерь, возможно, он смог бы помочь. В конце концов, Вевке руководит работой мастерских...

— Быстрее! Спешите, проклятые!..

Хаим-Юдл стоял, прижавшись всем телом к стене. Белизна его белья слилась с белой стеной. Лицо желтое, голова походит на восковую маску, повешенную на стене. Глаза навывкате уставились в черный бок гестаповца, заполняющий все пространство открытой настежь двери.

Смерть прошла мимо... Неужели он еще жив?..

Уходя, Даниэла бросила ему:

— Тут же дайте знать Вевке...

Двойра лежала на ящике-столе, стремясь своим телом прикрыть свою девочку. Она сейчас была готова на все. Пока в ее теле еще теплится дух, она ни за что не отдала бы дочь. Внутри нее спряталась львица, готовая защищать своего детеныша. Но внешне она выглядела как длинное белое полотно, брошенное кем-то в спешке на ящик.

На дворе девушек встретила черная ночь.

Страх, смешанный с любопытством, охватил Даниэлу. Это был страх человека, ведомого на смерть, и подсознательное желание узнать — что же находится по ту сторону жизни?

Ночь полностью поглотила жалкие дома гетто. Только на главной улице были установлены большие прожекторы, свет которых врезался в гетто как раскаленные копыя. Из темных переулков появлялись черные тени гестаповцев, ведущих с автоматическими пистолетами в руках дрожащих девушек, только что вытасненных из постелей.

Сестры из Тщевина идут впереди, шагают маленьки-

71

ми шажками; Феля и Даниэла принаравливаются к их шагу. Молча, с обнаженным пистолетом, шагает позади гестаповец. Со всех сторон слышны выкрики немцев и людей «юденрата»: «Скорей! Скорей!..»

Из затемненного переулка появляется на бегу Моник Матроз, глава «юденрата», в сопровождении чиновников и высших командиров милиции. В его руках белеет длинный лист бумаги. Он очень занят. Он, сам он, глава «юденрата» занимается этой «акцией». Постепенно улица заполняется множеством девушек. Где-то распахиваются ворота двора и оттуда в сопровождении гестаповцев и дружинников выводят новую жертву.

Фарбер сказал: «В ближайшее время будет проводиться большая «акция». Если я не ошибаюсь, это будет «акция» на девушек».

«Но Даниэла ведь работает в сапожной особой важности. Где уж надежней найти место?» — сказала тогда Саня.

Однажды, глубокой ночью, Даниэла шла по этим пасмурным улицам. Это было тогда, когда она добралась сюда, а Вевке повел ее в «точку», спасая от лагеря. Теперь ее опять ведут по этим же улицам, но в обратном направлении. Куда? Что делают с ними там? Это транспорт!.. Да, ведут ее в транспорт, в этап!.. Феля, эта шумная Феля, такая уверенная в себе, теперь тащится, как побитая собака. Может быть, Вевке побежит, докажет, что Даниэла была старательная работница в мастерской. Ведь в регистрах бюро записано, что за все время она не пропустила ни одного рабочего дня. Важно, чтобы Хаим-Юдл поторопился сообщить обо всем Вевке. Кто его знает, понял ли Хаим-Юдл то, что она ему сказала? По тому, как он выглядел, он не способен был понять что-нибудь...

С обеих сторон они окружены дружинниками в бело-голубых шапках. Из ближайших переулков выводят все новых девушек и ведут их посередине дороги.

Двор «службы порядка», обнесенный изгородью, до отказа заполнен схваченными девушками. Среди девушек

72

были и самые «знатные» и самые опустившиеся; девушки, изнуренные работой, и девушки, получившие за хороший куш фальшивые рабочие карточки. Многие из них до сих пор уверены, что завтра, с восходом солнца, они уйдут отсюда или по протекции, или за выкуп. Подобное уже случалось кое с кем из них.

Феля мечется по двору, от одних ворот к другим, ищет возможность завязать разговор с кем-нибудь из дружинников, охраняющих закрытые выходы. Они все ее давние знакомые, но сейчас не узнают ее: им строго-настрого запрещено с кем-либо говорить. Разве она не видит, что сам Моник на сей раз дирижирует «акцией»? Он сам составил список еще вчера, собственноручно. Может, потом, в «Дулаге», когда немцы закончат свои подсчеты и окажутся лишние «головы», Феля будет первой, которая выйдет отсюда. Но сейчас нет никаких шансов. Список в руках у Моника.

Двор все наполняется. Кто может сказать, будут ли иметь какую-нибудь силу специальные карточки. Они есть почти у всех. Если бы таких карточек не было, они просто не имели бы права ночевать в своих квартирах.

Даниэлу, которая, казалось, после потери Гарри стала ко всему равнодушной, теперь охватил леденящий душу ужас. Рано утром она будет отправлена в лагерь с ближайшим транспортом. Все, что представлялось раньше таким постылым; сапожная, гора одежды, поломанная кровать в «точке» — теперь стало близким и дорогим.

Вевке, наверное, уже появился в «точке» и ходит там среди опустевших кроватей. Что он может сейчас сделать? Появиться на улице во время комендантского часа ему нельзя. Может быть, рано утром ему удастся похлопотать за нее? Но кто знает, поможет ли ему бог в этих его хлопотах?

Девушек построили в ряды. По шесть в каждом. Электрички ждут на главной улице арийского квартала, чтобы от-

73

везти их в «Дулаг», в то место, откуда, как правило, уже не возвращаются.

Оставшиеся в гетто люди прижались к окнам. Там, по улице, ведут в этап их сестер и дочерей.

Трамваи готовы к движению. Водители-поляки абсолютно равнодушны к происходящему. Лица их тупы и непроницаемы. Они, видимо, недовольны только тем, что их заставляют водить трамваи так далеко за полночь. Возможно, они удивлены, что маленькое пространство гетто вмещает в себя столько людей: дни и ночи они беспрерывно возят оттуда транспорты, а гетто — как неиссякаемый источник.

Вагоны заполнены девушками до отказа. Они стоят на скамейках, на полу, прижатые друг к другу. Невозможно даже протянуть руку. Свисающие с потолка ремни раскачиваются в разные стороны. Через несколько станций на открытые неохраемые площадки вагонов прыгают рабочие, возвращающиеся из ночной смены портновских мастерских немца Драйзера. Их охватывает страх — «акция» на девушек!..

Возможно, что некоторые уже не найдут дома своих сестер, и потому страх подсказывает им — не торопиться, оттянуть приближающуюся минуту несчастья. Запертые в вагонах, в духоте, девушки мелькают перед ними, как бы слившиеся в одно лицо.

У двери одного из вагонов стоит «Тринадцатый» — еврейский дружинник, уроженец Гамбурга. «Тринадцатый!» Этот номер вытеснен на его бело-голубом шлеме. Он считается самым родовитым среди дружинников «юденрата» и у него есть заступники даже в гестапо. Все знают: если «Тринадцатому» дан приказ доставить «голову», то от него не уйти. Прическу он носит точно такую же, как немцы; одет в кожаную куртку коричневого цвета и высокие офицерские сапоги. Лицо у него всегда красное, припухшее, глаза влажные с поволокой, помутневшие от постоянного пьянства. Если кому-нибудь удастся улизнуть от гестапо, «юден-рат» поручает найти смертника именно ему. Если «Тринадцатый» здесь, значит, для гестапо этот транспорт особенно

74

важен. Он стоит, покачиваясь, и пытается обнять какую-то девушку, прижимаясь к ней всем телом. Но девушке из-за тесноты даже не удастся отвернуться от него. А «Тринадцатый» смотрит ей прямо в испуганные глаза и, обращаясь к ней на чистом немецком языке, без акцента, говорит: «Если бы ты знала, куда тебя сейчас везут, ты бы не стала отворачиваться от меня».

Его лицо беспробудного пьяницы улыбается. Он притягивает ее к себе силой и втолковывает ей:

— Немецкие солдаты тебя научат, как отворачиваться от мужских объятий, кошечка моя...

Даниэла пряталась за давящими ее спинами, и в голове ее беспрерывно стучало: «Немецкие солдаты научат тебя!.. Немецкие солдаты научат тебя!..»

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Когда Гарри был переведен из лагеря Сакроу в трудовой лагерь Нидервальден, он почему-то числился санитаром.

«Комната для больных», которая была его пристанищем и спасением, походила скорее на комнату игрушек для сумасшедшего. Эта комната, размером четыре на четыре метра, появилась как дань капризу начальника лагеря, которому непременно хотелось похвалиться перед своими коллегами из ближайших лагерей. Единственная кровать там — была детская. Туда же поставили застекленную тумбочку, и на каждой из трех ее полочек было выставлено множество маленьких бутылочек и флаконов. Начальник лагеря получал большое удовольствие от вида множества бутылок с наклейками и надписями по-латыни.

Весь лагерь производил на Гарри впечатление ужасного кошмара. Люди шатались по лагерю как опустошенные: они шли, куда их вели, стояли, где их останавливали; двигались, словно вагоны по рельсам после отцепления их от паровоза — пока не прекратится инерция движения.

Гарри, существование которого в качестве санитаря бы-

75

ло относительно легким, по сравнению с остальными, сохранял способность осознать и чувствовать весь ужас, окружавшей его жизнь.

Странно, что судьба выбрала именно его. Он никогда не пытался привлечь к себе внимание, и его добрый друг, художник Генри Баум, как-то в разговоре сказал ему: «Сильными локтями ты не наделен, Гарри, но вместо них тебе даны крылья, с помощью которых ты достигаешь куда большего...» Странно, что санитаром он стал именно здесь, в немецком трудовом лагере. Ведь здесь без всякого сомнения имелись даже дипломированные врачи — жалкие живые скелеты, блуждающие около «бауштеле».

В первый же день пребывания Гарри здесь, когда он вернулся под вечер с рабочей бригадой из «бауштеле», его вызвал из рядов начальник лагеря, оглядел с головы до ног и тут же присвоил ему титул врача.

— Доктор! Мы создаем в нашем лагере комнату для больных...

Ему очень хотелось жить, и он не возражал. Он чувствовал, что еще несколько дней работы в строительной бригаде, и его принесут мертвого.

А жить ему очень хотелось.

Видит Бог — ему стыдно смотреть в глаза остальным лагерникам, особенно когда их выгоняют на работу. Они шагают на работу, а он поворачивается и уходит в комнату «игрушек». Вечером они возвращаются с работы, неся на плечах погибших. Бог свидетель, ему, Гарри, стыдно... Чем он лучше других? Разве его кровь краснее их крови? За какие же заслуги сидит он целый день в лагере, сложа руки? Ему следовало бы плюнуть в лицо, а они, наоборот, смотрят на него взглядом побитой собаки, боязливо и почтительно: доктор! У него своя комната. Его не бьют и не истязают, как их, не ведут на работу, и он не носит рвань.

Когда он проходит мимо с двумя мисками супа в руках, бывает, что кто-нибудь рискнет спросить:

— Доктор! Когда разрешите зайти перевязать ногу?

— Когда вам будет угодно, — отвечает Гарри.

76

Глаза несчастного, который осмелился спросить, сияют. Оказывается, с доктором можно разговаривать: он не выбьет тебе зуб или носком сапога не ударит тебя в пах, как капо.

Странно. Почему судьба остановилась именно на нем. Начальник лагеря оберегает его, считая Гарри неотъемлемой принадлежностью комнаты для больных. Ему даже выдали белый шелковый плащ, отнятый, конечно, у кого-то, кого привезли сюда.

— Доктор! Сделай себе из этого белый халат. Пусть все видят и знают, что в лагере есть врач. Сшей себе из этой ленты красный крест на рукав. Большой крест, чтобы он был виден издали.

Во время проверок он стоит отдельно, хотя даже капо и другие лагерные надзиратели — в общих рядах. Но врач в белом халате с громадным красным крестом на рукаве — как бы князь среди лагерных аристократов.

Судьба заступилась за него, сделав именно его, Гарри, своим баловнем.

В шкафу выстроены бутылки. И на столе тоже стоят бутылки. Так это выглядит лучше, внушительнее. На столе разные медицинские баночки, мисочки, в них приправы и мази. Многие

из этапников взяли с собой лекарства в лагерь на всякий случай.

Когда прибывает новый этап, начальник лагеря обычно заходит в комнату для больных и с радостным ржанием сообщает:

— Доктор! Целая сокровищница для нашей больницы. Пойди и принеси все!

В углу барака, в том месте, где прибывшие проходят последний обыск, валяются на полу, в стороне от других вещей, бинты, пачки ваты, пузырьки йода, валерианка, баночки ихтиола, цинковой мази, флаконы дистиллированной воды, порошки от головной боли, таблетки против запора, против поноса — в самом деле, сокровище для лагерной «больницы».

На покрытом стеклом лакированном столе прибавляются еще игрушки: блестящие алюминиевые патроны табле-

77

ток, красивые немецкие лекарственные препараты, всякие снадобья. Пустые коробочки нельзя выбрасывать. Если бы врач посмел такое сделать, он поплатился бы головой. На стене висит лист, куда записывается с немецкой точностью каждая коробочка, полученная от этапа. На столе все должно быть поставлено в ровные ряды. Все должно быть вымерено и высчитано по высоте и длине. Порядок! Порядок! Дисциплина !

Очень нравятся начальнику лагеря хирургические инструменты из нержавеющей блестящей стали. Эти инструменты он получил как подарок для больничной комнаты от командира бюро обслуживания «особого отдела». Они тоже должны быть выложены на стекле стола по размеру и обязательно по прямой линии. Расстояние между каждым — один миллиметр.

Если б только положили в эту комнату больного, хотя бы на один день! Упаси бог! Об этом и думать нельзя. Все знают, что кровать поставлена в больничной комнате только для видимости. К ней даже нельзя притрагиваться! Если бы кому-то позволили хоть на один день лечь тут, на полу. Но в лагере не разрешается быть больным. Ведь начальник лагеря для того и создал больничную комнату, чтобы все были здоровыми.

Вечерами, после работы, выстраивается большая очередь перед дверью больничной комнаты. Это те, которые еще ощущают мучительный голод, изводящий их тело после того, как проглотили свою порцию жидкого, водянистого супа и вылизали миску изнутри и снаружи. Но те, которые получают свою порцию супа уже только по инерции, по привычке, те больше не становятся в очередь на прием к врачу, даже если их тело истерзано, как использованная половая тряпка. Так или иначе — их раны уже не кровоточат; такие после супа лезут на нары и ждут утреннего гонга на подъем, чтобы опять шагать в рядах на работу; они уже не различают, прошла ли еще одна ночь, они не знают, есть ли еще в мире ночи или все уже исчезло. Это лишь про-

78

должение существования — когда позабыто начало и не видно конца. Это состояние — стадия мозельманства.

Иногда, когда слышится вечерний гонг, означающий сигнал к выключению света, мозельманы сползают с верхних нар, выходят из барака и направляются на площадь переключки и проверки, чтобы выстроиться, как положено в лагере по приказу. Они перепутали вечерний гонг с утренним. Они уже готовы опять шагать на работу. Кто-то из лагерного начальства прогоняет их обратно в их конуры, а они удивляются: что же случилось? Их мозг воспринимает только резкий удар гонга.

По вечерам больничная комната заполняется голыми ногами и руками. Всюду одни ноги.

Гарри снимает повязку с распухшей ноги. Рана распространилась большим кругом по всей ноге, и в нос ударяет вонь гниющего мяса. От ноги подымается теплый пар, как от навозной кучи, когда после длительного времени снимают с нее верхний слой. Вот опять корзина для бумаги наполнилась ошметками от рук и ног. У многих ампутация проходит удачно. Особенно пальцев. Начинается с ногтя. Гниль распространяется и переходит на всю ладонь, или на ближайший палец. Он ампутирует гнилой палец, и через несколько дней рука вылечена. Конечно, если лагерник до того не успел испустить дух от ударов по голове.

Больные не издают ни звука. Гарри режет по живому телу ножом, как по гнилому плоду, а лагерник сидит на стуле, как будто ему просто состригают ноготь на ноге. Неужели завтра он сможет на этой ноге ступить, да еще пойти на работу?

Бывает, садится лагерник на стул напротив.

— Что у вас болит?

Человек не опух, он лишь куча сухих костей, покрытых просвечивающей насквозь пожелтевшей кожей. На теле не видно открытых ран. Рот раскрыт — голоса нет. Человек словно

ищет свой голос и не может отыскать. После усилий он показывает пальцем: болят ресницы...

79

Зрачки его страшно расширены, заполняют всю глазницу, как зияющие отверстия.

Что с ним делать?

Хирургические инструменты лежат на столе, но его тело совсем не нуждается в хирургическом вмешательстве. На столе стоят всякие баночки и тубики с мазями, но у этого человека нет ран. Надо ему придумать болезнь. Рот раскрыт, и язык шевелится, прося о лекарстве. Ведь два часа подряд он выстоял в очереди. Его просьбу можно понять с большим трудом. Он как бы свистит замогильным голосом: помогите ему выдавить из глаз хоть одну слезу. Тогда ему полегчает. В этом он совершенно уверен. Пусть доктор поможет ему пролить хоть одну слезу из глаз...

Зрачки тускнеют, гаснут. Он сидит окаменевший, потухший. Веки глаз желтые, пересохшие, как окаменевшая земля.

Жизнь вот-вот оставит это тело на вечные времена. А пока это разрушенное тело сидит и вымаливает слезу.

Но где в немецком лагере в последнюю минуту найти слезу? Слезу! В последнюю минуту захотелось слезы!.. Кто ему тут поможет?

Внешне лагерь в Нидервальден выглядит иначе, чем другие трудовые лагеря в этой окрестности. Нидервальдский лагерь находится в конце немецкой деревни, в громадном блоке, служившем раньше, как надо полагать, залом для пожарников или кино, а, возможно, для той и другой цели одновременно. Остальные лагеря находятся в самом лесу, в деревянных бараках, специально построенных для этой цели, окруженных колючей проволокой с пропущенным через нее током высокого напряжения. Охрана лагерей живет в каменных домах.

В громадном здании Нидервальдского лагеря от пола до потолка поставлены деревянные нары в три яруса — нижний, средний и верхний. В другом конце здания находится кухня, откуда через маленькое окошко раздают лагерникам суп и хлеб. Кухня отделена от помещения лагерников лестничной клеткой, ведущей в помещения немецкого

80

персонала. Здание и прилегающая площадь ограждены забором из колючей проволоки со сторожевыми вышками. Только сторона, обращенная к деревне, скрыта от взоров людей высокой каменной стеной с бойницами.

В дневные часы, когда все находится в «бауштеле», Гарри один прохаживается в полутемном здании среди нар-клеток. Чем он сможет помочь людям? Он хорошо знает мучения и издевательства «бауштеле», хотя работал там всего один день. Еще не выветрилось из его памяти «бауштеле» в лагере Сакрау. Он не забыл, как он умолял врача, чтобы тот перевязал ему проколотые ладони, сочащиеся гноем.

— Испарись отсюда, выблядок! Нет для тебя бинтов. Выматывай отсюда и не порть воздуха! — орал на него санитар Мельцер, еврей-санитар в лагере Сакрау.

Теперь, посещая здание лагеря, он обычно переворачивал постели, набитые соломой, чтобы ночью было удобнее спать. Чем еще помочь им? Мази давно кончились. Перевязочных средств нет. Что еще ему остается сделать для них, кроме как переворачивать солому?

Однажды начальник лагеря застал его за этим занятием и весь покраснел, как от нанесенного ему оскорбления.

— А ну-ка! Подойди сюда! Чем ты там занимаешься? Это что, занятие для врача? Быстро надень свой медицинский халат и мотай к своим лекарствам! Я их научу сегодня, как надо стелить постели!..

Гарри ошибся. Ему хотелось сделать для них добро, а выходит, что он добавил страдания на их головы. Эти несчастные даже не представляют, какой прием им уготован вечером по возвращении в лагерь после работы. Собственными руками он испортил им вечер.

Порядок и безупречная чистота царят в больничной комнате. На сердце Гарри тоска и уныние.

Плетеная корзинка у ножки стола сейчас пуста и смотрит открытой пастью. На детской кровати постлана белая простыня — чистая, гладкая, без единой морщинки. Оба

81

стула поставлены около стола точно так, как требует начальник — один для врача, а второй для больного мозельмана. В комнате тишина. Тишина, которая может свести человека с ума.

Гарри берет стул, ставит его у стены, взбирается на него и смотрит через маленькое окошко, забранное железной решеткой, наружу.

С этого места он видит только угол двора, где расположены ворота для гражданских лиц. Неподалеку от каменной ограды стоит одинокое молодое деревце. Это жалкое дерево выворачивает Гарри душу. Иногда ему до того тяжело, что прерывается дыхание. Кажется, что дерево задушили, что оно стоит с раскрытым ртом и хочет втянуть в себя свежий воздух и дышать.

Гарри положил семь вареных картофелин на нары Тедека, Занвила Люблинера и архитектора Вайсблума. Кожица картофелины чистая, белая, как алебастр; она раздражает, привлекает, не дает покоя. Целый час сосал бы Гарри картофелину. Нет! Он туда близко не подойдет! Не дай бог тронуть картофелину. Всегда начинается так: отступаешь... еще отступление... Потом его охватит приступ несдержанности, и никакие силы не оторвут его от картофелины. Сегодня он не тронет ни одной картошки, даже не станет смотреть на нее. Ему надо быть сильным. Ведь он сам положил их туда — пусть так и лежат, мирно, спокойно, на своих местах. Для него они трефные, падаль. Пусть вообразит, что он уже съел их. Был бы он больше сыт, чем сейчас?

Спустя два дня после назначения его врачом в больничной комнате появился Тедек. Гарри не узнал его, но зато Тедек сразу его узнал. Тедек был отправлен сюда раньше Гарри из трудового лагеря Иоханнесдорфа. Как Гарри может спасти Тедека? Уже упущено время. Правда, Гарри ежедневно обкрадывает себя, отделяя кусочек хлеба от своей пайки и отдает его Тедеку при выходе из «бауштеле»; иногда даже отдает ему несколько ложек своего супа. Раз в неделю, когда вместо водянистого супа заключенным

82

дают вареный в мундире картофель, Гарри прячет несколько картофелин в постель Тедека, чтобы он мог подкрепиться, когда вернется вечером в барак после работы. Но разве это спасет Тедека?

Гарри помнит лицо Тедека в гетто. Ни капли сходства с теперешним. Лицо того Тедека выражало ум и мысль: приятное и милое. А сейчас это лицо идиота, вызывающее ужас и дрожь.

Если поставить рядом Занвила и Тедека, можно убедиться, что оба они на одно лицо, хотя одному из них — пятьдесят лет, а другому — всего-навсего двадцать. Их лица выглядят сухими, сморщенными и чалыми. Но по Занвилу сразу видно, что в прошлом это был настоящий человек, много страдал и, несмотря на это, сохранил стойкость.

Но Тедек — этот разумный парень, этот симпатяга, этот закадычный друг Даниэлы — идиот! Как понять это? В чем дело?

Вечером, когда Тедек возвращается с работы, Гарри тут же вводит его в больничную комнату, обмывает его раны, делает ему перевязки и усаживает в углу комнаты. Тут, по крайней мере, он защищен от тумачов дневальных и старшины барака. После приема больных Гарри подсаживается к Тедеку и разговаривает с ним, как с больным ребенком. В первые дни Тедек рассказал ему о себе, о своей первой встрече с Даниэлой. От него Гарри узнал подробности о жизни Даниэлы в гетто, которые он раньше не знал, так как Даниэла скрыла их от него. Тедек рассказывает, но глазами уставился в пайку хлеба Гарри, лежащую за стеклом медицинского шкафчика. На его когда-то выразительном и симпатичном лице написано теперь только скотское желание, единственное: как получить еще кусочек хлеба... Словно корова, понимающая, что если ее доят, то, наверное, потом положат добрую порцию соломы в кормушку.

А Тедек ведь любил Даниэлу со всей восторженностью своей молодости. Куда же это все улетучилось?

Нет! Гарри не поддастся... Он принял решение и не от-

83

кажется от него: к картофелю он больше не подойдет! Самое трудное было, когда он получил свою порцию картофеля и не съел его сразу, а честно распределил между друзьями. Когда начинаешь есть, то голод разгорается внутри с еще большей силой. Но ты обязан поддержать своих людей. Их нещадно эксплуатируют в «бауштеле», а врач ведь крутится сравнительно сносно и получает за свою работу две порции супа... У него вспыхнула мысль: все-таки надо подойти к нарам, посмотреть на картошку. Нет, он отогнал это желание.

Странно, что в «бауштеле» голод не так чувствителен. В «бауштеле» время как-то быстрее проходит. В лагере Сакрау, где он работал так же как остальные, он не чувствовал такого страшного голода, как сегодня, когда без дела слоняешься по лагерю. В «бауштеле» чувствуешь, как силы тебя оставляют, и ты вот-вот упадешь в обморок, только страх не дает упасть. Ужас

возможных побоев вытесняет боль голода. Однако его хождение здесь в течение дня без дела — это вдвое страшнее. Голод, не переставая, сосет внутренности, доводя до сумасшествия. Хочешь сойти с ума, но не получается. Помимо твоей воли и желания рассудок работает.

Чью долю картофеля он мог взять? Глупая мысль! Это исключается. К трем картошкам Тедека он не притронется. Тедек для него то же, что и Даниэла.

Занвил — он никогда не попросит — но две его картофелины святы. Этого еврея он знает еще со времен совместной работы в портновских мастерских Швехера. Он давно уже ничего не давал Занвилу, и тот уже думает, что Гарри бросил его. Нет. Не позволит он себе эту гнусность!

А архитектор Вайсблум, знакомый Сани? Каждый день Вайсблум караулит его около больничной комнаты. Невозможно пройти мимо него, не видеть его лицо попрошайки. Горе ему, что он видит архитектора в таком состоянии. Архитектор понимает чувства Гарри и пользуется этим: он следит за ним, как заискивающая собака. Если он тронет

84

эти две картошки архитектора, кто знает, когда представится еще возможность дать ему что-нибудь?

Из жилищ немцев прорываются пьяные голоса. Голоса проникают через деревянную дверь кухни и доходят до больничной комнаты.

В таких случаях Гарри бежит в жилую часть помещения, взбирается на третий ярус нар, укрывается там. Лучше всего быть начеку. Никто заранее не может угадать, какие штучки выкинут эти немцы во время пьянки. Вот, например, в лагере Сакрау, пьяные немцы поймали еврейского старосту, красивого парня из Берлина, и завели его к себе. А вечером, еще до возвращения лагерников с работы из «бауштеле», бросили в барак — удушенного и раздетого; тело его представляло собой мозаику из синих пятен и кровоподтеков.

Чахлое дерево у стены помещения покрыто вареной картошкой в мундирах. Перед глазами Гарри один картофель. Каждый листочек — картошка. Трудно отвести от них глаза. А на середине веточки, где остался один листик, теперь раскачивается картошка с бугорком, та, которую он положил в конуру Тедека. Эта картофелина так и вращается перед его глазами, раздражает его, подмигивает ему, уговаривает его, обвораживает с такой силой, что невозможно устоять перед искушением. Но внезапно бугорок на картофелине принимает облик головы Тедека. Гарри вглядывается в это видение. Из глазниц скелета Тедека вдруг проступает взгляд голубых глаз Даниэлы умоляющие просящие пощады глаза.

...Летние дни в гетто. Юденрат распределил пустующие участки земли среди домов гетто на маленькие наделы, чтобы евреи их обработали и засеяли. В народе эти наделы почему-то называли «жалки»; каждый мог взять себе в аренду такой надел, но желающих было немного, так как считалось, что пока вырастет спелый помидор, закончится война, и убыток не вернешь. Нет! Это не дело. «Люди юденрата это изобрели, чтобы тянуть с нас копейку!» — говорили евреи гетто.

85

Хаим-Юдл, все заботы которого сосредоточены вокруг своей «виллы», чтобы там, не дай бог, не ощущался голод, поспешил взять у юденрата в аренду такой «надел». Взял просто так. Ведь лежат же у него куски меха, пусть валяется и кусок земли, кричал он в ухо глухой жене. Хаим-Юдл не знал, сколько труда надо вложить, чтобы «вытянуть» из земли помидор и красную редиску. И в конце концов получилось так, что у него арендовала этот участок Даниэла.

То были самые ясные и солнечные дни в гетто. Тогда казалось, что все вокруг не так уж плохо. Небо над ними было бесконечное, свободное. Даниэла и Тедек раскопали и заборонили участок, засеяли его, напоили влагой. Пробились первые побеги розовой редиски, зеленого горошка в стручках, помидор, картофеля.

Да, то были самые хорошие дни в гетто...

Участок Хаим-Юдла был для них как чудесный сон, в котором милостиво управляет ангел смерти. В последнюю ночь жизни он дает взглянуть на солнечный свет, которого никогда больше не увидишь.

Каждое воскресенье Гарри приходил к ним на участок. Они вместе сидели на каменной скамейке, сооруженной Тедеком, и Даниэла набивала ему карманы овощами из их урожая в подарок Сане. Уходя к себе, в еврейский квартал номер один, он поворачивал к ним голову, издали смотрел, как они стоят рядом.

Что там теперь у Даниэлы? Хорошо, что она работает в сапожной «особого назначения». Эта мастерская застрахована от неожиданностей, от беды. Все это благодаря Вевке, отцу Тедека. Такой чудесный человек этот Вевке! Как хорошо, что в гетто еще есть такие люди. Даниэла находится в

верных руках. Нечего беспокоиться. Саня тоже работает в хорошей мастерской. Мастерские Вильдермана считаются наиболее спокойным рабочим местом. Тут есть еще одно преимущество: Биянка, ее двоюродная сестра, руководит там работой, а это, без сомнения, поможет Сане. Теперь ясно, как все удачно сложилось. Нет нужды трево-

86

житься. Сегодня он оставит Тедеку на вечер полную порцию супа. А три картошки Тедек сможет взять с собой утром на работу. Каждый день он будет отдавать Тедеку часть своего супа. Он поделится с ним поровну, для него это как святой обет. Он удивляется, как он раньше до этого не додумался.

— Яага! Яага!..

Голос прорвался через окно, со стороны немецких домов. Он поднял глаза и увидел красивую женщину с золотистыми волосами. Она стоит без движения и смотрит на него. Одеты она в женский военный мундир. Шапочка—лодочка набекрень на пышных светлых волосах; под мышкой у нее хлыст из тусклой кожи. Кто знает, сколько времени она стоит так и смотрит на него?

Это, скорее всего, любовница начальника лагеря. Как это она тут появилась, у стены? Как это он не почувствовал ее прихода? Она стоит без движения, смотря ему прямо в глаза. Он хочет убежать, оторваться от решетки, но ее взгляд словно приковал его к месту.

Ее продолжали громко звать: «Яага!..» Но женщина не сдвинулась с места. Она не спускала с Гарри глаз, вспоминая, где видела его раньше.

Все это продолжалось считанные минуты, показавшиеся ему, однако, вечностью. Он не может больше продолжать так стоять. С большим усилием оторвался он от окна и спрыгнул со стула.

К нему дошел голос со стороны окна:

— Еврей! Не надо бояться! Покажись мне опять...

В голове мелькнула мысль: кто знает, не вздумает ли она войти в больничную комнату? А, может, вместе с ней войдут немцы! Последствия такого визита невозможно угадать.

Он вернулся и опять поднялся на стул у окна.

Теперь она стояла ближе. Он заметил на ее одежде цвета знаков отличия СС. Он давно забыл, что человек может так ослепительно выглядеть. В руках женщина держа-

87

ла хлыст, на конце которого блестела металлическая пластинка.

Она спросила:

— Чем ты занимаешься среди бела дня в лагере?

— Я санитар лагеря.

Она подняла на него глаза и прошептала:

— Как святой Христос... Клянись богом, лицо святого Христа...

Издали неслось сытое ржание.

— Яага! Яага!.. Где ты?..

Она повернулась и зашагала в ту сторону, откуда ее звали, но затем опять повернула лицо к окну и прошептала:

— Клянись богом... Лицо святого Христа...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Когда этап девушек прибыл в «Дулаг», там никого не было.

Над входной дверью мерцала маленькая лампочка, бросающая скупой свет на лестницу, по которой девушки должны были взобраться, чтобы достичь верхних нар.

В этом пересыльном пункте побывали уже десятки тысяч этапников. Они лежали здесь на жалкой, вытопанной соломе. Отсюда их отправляли в лагерь. Тут кончалась последняя ступень перехода в другой, таинственный и жуткий мир. Тут проливались реки слез. Но «Дулаг» ненасытен: он готов принять и впитать в себя человеческое горе без конца и предела.

Никто из девушек не произносил ни слова. Каждая из них мысленно общалась с оставшимися в гетто, которые оплакивали ее. В тишине ужаса, витающего над «Дулагом», каждая боится сделать хотя бы одно движение. Страх перед более страшным, неизвестным, давит, угнетает.

...Прошла ночь.

Новый день начал чуть-чуть освещать квадраты зарешеченных окон, наполовину заделанных досками. Девушки

88

не подымали головы, чтобы не видеть этот наступающий день; им хочется сейчас одного: чтобы их не тревожили. Но проникающий свет делает свое, и одна за другой приподымаются головы. Глаза блуждают кругом, в поисках знакомых. Девушки, не нашедшие место на нарах, сидят, прислонившись к стенам и уронив головы на колени; они с завистью смотрят на тех, кому повезло попасть на нары, где брошены охапки прелой соломы.

Даниэла сидит, прислонившись к стене. Удастся ли Вевке вызволить ее отсюда? Может, по ходатайству из «службы порядка» ему это скорее удастся? Из полицейского участка, бывает, возвращаются домой. Но из «Дулага» выходят очень редко. Ей не доводилось слышать о таком. Вевке побегит в юденрат хлопотать о ней — в этом она не сомневается. Но поможет ли это? Глупости! Выкуп он ведь не в состоянии предложить. Да, кроме того, сюда попали девушки, ходившие в гетто расфранченными и намазанными, те, которые имели в юденрате и в милиции своих заступников. И все они теперь здесь. Разве удастся Вевке вызволить ее отсюда?

Еще немного — и сапожники придут на работу. Все узнают, что ночью ее поймали и вывезли вместе с другими девушками. Многие искренне посочувствуют ей, а потом позабудут. Всегда это так.

Если бы она знала, что ее собираются отправить в лагерь, где находится Гарри, она пошла бы туда спокойно, даже с радостью. Она смогла бы поддержать его там. В последнее время Гарри выглядел совсем больным. Он никогда не жаловался, но ведь она видела, что он очень болен. Боже милосердный! Как он выдержит там, в лагере на тяжелой работе? Если бы они были вместе. Может, и там имеются мастерские, наподобие тех, что в гетто? Она могла бы ему помогать. Она ведь здоровее его, хотя он до последнего времени всегда видел в ней только ребенка.

Куда ее отправят? В том и заключается весь ужас, что никогда невозможно узнать, куда отправят отсюда этап но-

89

вичков. Где находятся те трудовые лагеря? Может, там тоже есть мастерские? Люди платили огромные деньги, чтобы узнать, куда ссылают их близких, но никакие деньги не помогли им это узнать.

Несколько девушек прижались к окну и смотрят на свет через квадрат железной решетки.

Здесь невозможно стать во весь рост... Затылком упираешься прямо в потолок, на котором нацарапаны слова прощания. Уйма надписей, наподобие громадной братской могилы, куда беспорядочно забрасывают тела. Ушедшие отсюда хотели оставить о себе память в виде нацарапанной надписи на стенах.

Близко от места, где сидит Даниэла, выцарапано дерево. Под ним — ряд имен. Это были, возможно, ученики одного класса.

Даниэла содрогнулась. Может, здесь есть и имя Гарри? Она осматривает стены вокруг: на потолке — десятки тысяч надписей, маленьких и больших, простых и с завитушками — на идиш, по-польски, на иврите, по-немецки. Кто-то оставил на стене письмо брату; другой прощается с матерью, а этот — с любимой. Один плачет по косам своей дочери, которую он больше никогда не увидит; другой просит прощения у своего отца за то, что недостаточно поддерживал его в гетто. Все надписи кончаются словами: «Отомстите за нас!»

Море надписей и имен. Имена женщин и имена мужчин. Многие написаны вместе, группами, а некоторые имена выцарапаны отдельно. Кладбище громадное, оно заполнено до отказа. Каждое имя — трагедия человеческой судьбы.

Она искала среди надписей имя брата, как отыскивают труп в братской могиле.

Через незашитую досками часть окна видны углы домов арийцев в районе «Дулага». Дома, в которых раньше жили только евреи. Теперь в них живут поляки. Евреям место только в «Дулаге», или в гетто, где они ожидают отправки в «Дулаг». По ту сторону «Дулага» люди еще погружены в сон, хотя день уже давно начался. Но здесь, где мир виден толь-

90

ко из квадрата зарешеченного окна, не думают и даже не помнят, летний или зимний сейчас день; падает ли снег или греет солнце. Смотрят на грядущий день и гадают: что несет он им с собой?

Даниэла ходит с этажа на этаж, ищет знакомых. Может, ей удастся что-нибудь узнать?

У входной двери Даниэла наткнулась на Фелю, которая разговаривала с дружинником.

Феля, как обычно, хорошо одета. По ней видно, что ночью она не лежала на грязной соломе, как другие. Она хорошо причесана, и платье ее не помято, но лицо уже не такое улыбающееся и светлое, как прежде. Даниэла стоит поодаль, она не хочет отрывать Фелю от разговора. Но Феля увидела ее. Она прощается с дружинником и спешит к Даниэле.

— Итак, Даниэла, мы в «Дулаге»!

— Неужели и у тебя нет шансов улизнуть отсюда? Ты ведь имеешь связи, близка к людям «службы порядка» и твой особый пропуск подписан самим начальником милиции, — удивляется Даниэла.

— Если сам Моник внес мое имя в список, значит, он хотел избавиться от меня. Значит, я ему уже приелась...

Даниэла хочет как-то утешить ее, сказать ей это так, чтобы не обидеть ее. Но Феля опережает ее и продолжает:

— Я, правда, еще не совсем потеряла надежду. Можешь на меня положиться, Даниэла. От меня юденрат так легко не отделается. Моник Матроз меня хорошо запомнит. Я сделаю все, чтобы выбраться отсюда, но если судьба мне определила попасть в немецкий трудовой лагерь, я и там постараюсь найти пути. Использую все средства, чтобы еще раз встретиться с Моником. Но тогда, говорю тебе прямо, горе ему! Можешь положиться на меня.

От Фели исходила какая-то сила убеждения. И Даниэла, которая больше и чаще, чем Феля, видела перед собой ужасы смерти, почувствовала себя в ее присутствии, как ребенок, ищущий защиты под крылом взрослого. В душе она думала, что если уж придется пойти в лагерь, то, по крайней ме-

91

ре, вместе с Фелей. Если бы Феле удалось сейчас выбраться отсюда, Даниэла почувствовала бы себя совсем брошенной и вдвойне осиротевшей. Вблизи Фели ей легче будет перенести все, что их ожидает в немецких лагерях.

Ее стало стыдно своих мыслей и, чтобы подавить их в себе, она быстро сказала:

— Феля, я готова дать тебе свою рабочую карту, если это поможет тебе спастись. У тебя ведь есть протекция...

— О, глупенькая ты моя девочка! У многих тут есть пропуска и рабочие карточки. Неужели ты в самом деле полагаешь, что особый пропуск может тут помочь? Наивный ты ребенок!

— Я думала, что ты сможешь что-то предпринять, если у тебя будет такой документ.

— Меня тут знают больше, чем достаточно, — усмехнулась Феля с горечью. Знают, что я нигде не работала. Все знают. Кроме этого, мне сказал один из дружинников еще во дворе милиции, что эта «акция» особая, необычная и очень строгая. Мне кажется, что мы уже похоронены...

Даниэлу душили слезы:

— Феля, давай, будем всегда вместе. Не оставлять одна другую... Я так одинока...

— Девочка! А кто здесь не одинок? — ответила ей Феля и крепко обняла ее.

Даниэла стояла у окна, прижав лицо к металлической решетке.

На тротуаре против «Дулага» внезапно появился, как из-под земли, Вевке.

До недавнего времени евреям еще разрешалось ходить здесь, по улицам, близко расположенным к «Дулагу». Теперь смертельная опасность угрожает любому еврею, приблизившемуся сюда.

Вевке бросает быстрые, беглые взгляды вверх, к окнам «Дулага». У его ног большая корзина, наполненная деревянными сапожными колодками. Даниэла растерялась. Что ей делать? Вевке смотрит на нее и не видит. Она повернулась позвать Фелю:

92

— Может, он примчался с доброй вестью? Может, он хочет передать что-то важное? Иначе он не стал бы рисковать жизнью и не пришел бы сюда, к «Дулагу». Но как он может передать это издали? — говорит она взволнованно.

Феля попыталась окликнуть его, свистеть ему, но все напрасно. Вевке нервно оборачивается туда-сюда, не видит ли его кто, и тут же сосредотачивает свой взор на окнах «Дулага». Но на таком расстоянии невозможно разглядеть лицо стоящего за решеткой.

Феля разочарована:

— Вевке тут ничем не сможет помочь. Он, наверное, пришел только, чтобы повидать тебя. А

может, этот глупец рискнул прийти, чтобы попрощаться с тобой?

Вевке мечется по тротуару взад и вперед, не находит себе места.

Появление здесь Вевке переполняет Даниэлу горячим чувством благодарности, смешанным со страхом за него. В такую тяжкую минуту радостно видеть, что на воле есть человек, помнящий о тебе. Если Вевке даже пришел только для того, чтобы попрощаться с нею, то и тогда это чудесно. Сейчас ей только хотелось бы, чтобы он увидел ее знаки, понял бы, что она смотрит на него и что ему следует отсюда уйти! Ведь стоя здесь на улице, он подвергает себя большой опасности. Пусть скорей уходит отсюда!

Но Даниэла чувствует, что с его уходом отсюда оборвется последняя нить, привязывающая ее к миру. Ей бы хотелось, чтобы Вевке стоял там долго, вечно, чтобы она могла смотреть на него все время. Когда она смотрит на него, в ней еще живет чувство дома, чувство семьи. Как ей хочется поблагодарить его за это!

— Сойти! Все вниз! Всем на площадь! Быстро!

Этот приказ разнесся по всем помещениям, по всем этажам. Дружинники мечутся во все стороны. Кричат:

— Все сходите вниз! Быстрее! Шевелитесь!

Площадь «Дулага» окружена гестапо. Девушки выстраиваются в ряды. Их считают, выкрикивают по фамилии — проверяют, все ли на месте. Девушки дрожат от страха.

93

Феля говорит тихо, как бы самой себе:

— Теперь все потеряно...

Счет сходится. Гестаповцы снимают автоматы с плечей, и на виду у девушек проверяют готовность их к стрельбе. В воздухе носится что-то кошмарное. Неужели это конец?

Ворота «Дулага» раскрываются во всю ширь: ряды девушек, по шести в ширину ряда, выстроены и ждут приказа.

— Вперед!

Ряды шагают.

— Куда?..

На тротуарах прохаживались и гуляли люди, иногда останавливаясь, чтобы поглядеть, как ведут жидовок.

В прошлом на этих улицах жили одни евреи. Они, евреи, построили эти дома. Теперь в них живут поляки; те самые поляки, которые перед войной не переставая кричали, что евреи продают родину врагу! Стоило только появиться немцам, как эти ярые патриоты в течение одной ночи стали «народными немцами». Многие из них теперь с удовольствием прикрепляют к своей одежде знак нацистской партии, и в награду каждый из них получает — кто квартиру еврея, кто его предприятие.

Среди девушек есть такие, что жили именно на этих улицах. Медленно они поднимают глаза к окнам своих квартир. Оттуда на них смотрят сейчас с сатанинской улыбкой нахальные рожи польских девиц.

В этих домах они родились. Тут они играли в детстве. Каждый день они ступали по камням этих улиц.

Каждый камень — это воспоминания детства и юности.

Теперь их заставляют шагать по шоссе, такому знакомому им, такому близкому. Они идут, окруженные чужими людьми, которых до того ни разу не видели, перед которыми они ни в чем не провинились, честь которых они не задели,

— Куда?

— Почему?

Даниэла не жила на этих улицах. Она не родилась здесь. Но и ей стук шагов напоминает марш учениц их

94

класса по улицам Конгрессии. Тогда из окон и балконов свешивались головы родителей, сестер, братьев. Вслед им махали белыми платками:

«Счастливой дороги!..», «Большого удовольствия вам!..»

Из боковой улочки выбежал человек, на плече которого большая корзина с сапожными колодками. Он будто скользит вдоль стен, избегая кого-либо задеть, столкнуться с кем-нибудь из публики, разглядывающей с таким удовольствием это шествие посередине шоссе. Его ноги подгибаются, выписывают круги, движутся с трудом под тяжелой ношей. Одной поднятой рукой

он поддерживает корзину; ладонью второй он беспрестанно вытирает опущенное вниз лицо — поток слез застилает ему свет. Шея и затылок напряжены, вытянуты.

Даниэла старается поймать его взгляд, ей хочется, чтобы он увидел ее, посмотрел на нее. Может быть, в последнюю минуту у него есть что-то для нее очень важное? Что Вевке может сейчас сказать ей? Или он появился только для того, чтобы с ней попрощаться? «Глупец»... Феля не знает Вевке. Откуда ей, Феле, знать характер этого человека? Вот он ищет ее. Не дай ей господь мигнуть в его сторону. Этим она может навлечь беду на его голову. Его взгляд блуждает, ищет. Он ищет ее. Это она хорошо видит. Но глаза его залиты слезами. Встретиться с ее взглядом ему не удается.

Первые ряды девушек вошли на территорию вокзала. Вевке стоял близко к стене дома и не заметил Даниэлу.

Что он хотел сказать ей?

На здании вокзала написано большими буквами по-немецки:

«Колеса катятся к победе!»

Для девушек был приготовлен специальный состав. Машинисты, кидая полные совки угля в раскрытые пасти топок, бросают в сторону девушек издевательские взгляды.

У Даниэлы голова идет кругом. Все двоятся, множится, увеличивается вдесятеро, в тысячу раз... Все гоняются за ней... вот-вот поймают ее...

95

Она вся дрожит. Все это она однажды уже видела. Точно такое. Точно так... Такие же паровозы... Те же колеса... Такие же издевающиеся лица... Тот же страх, от которого стынет душа. Все это было. Только она не помнит, было то во сне или наяву?

Немцы заполняют платформу вокзала. Они ждут свой поезд. В руках у них красивые кожаные чемоданы; на них еще виднеются инициалы их прежних хозяев. Некоторые из немцев стоят, другие прохаживаются вдоль платформы. Матери покупают в киосках вокзала конфеты своим детям. Дети помыты, причесаны, челки а-ля Гитлер спускаются на их лбы.

Свобода! Дороже свободы нет ничего на свете. Только навсегда лишённые свободы понимают это.

Немецкие женщины проходят мимо толпы девушек, бросают на них беглый взгляд, как на что-то вполне обычное, и продолжают свой путь.

Дети мнут и скатывают в руках обертки от конфет, купленных им мамами, гуляют, проходя перед зажатой толпой девушек, чуть-чуть отодвигаются, чтобы случайно не наткнуться на них. В их глазах эти девушки, как куча вещей перед погрузкой в вагоны. Что тут особенного? Все это они видели уже не раз. Иногда это бывают лица женщин, иногда — мужчин, детей и стариков. Они смотрят на это с тем же равнодушием, как контролеры в кинотеатре на часто показываемый фильм.

Вагоны переполнены до отказа. Сидят не только на скамейках, но и на полу. Поезд спешит к месту назначения. «Колеса катятся к победе!»

Даниэла едет. Вокруг нее головы девушек. Ей начинает казаться, что она продолжает свою первую в жизни экскурсию с учениками ее класса.

И тогда она сидела в вагоне, и девочка возле нее спросила то же самое: «Есть ли в вагоне вода?» Тот же голос, те же пейзажи. Вот-вот откроются глазу хатки крестьян... те же сосны...

Тогда учительница истории стояла у одного окна, клас

96

сная руководительница пани Хелена — у другого. На станции Яблова поезд был внезапно задержан. Дальше поезд не пойдет... Все пассажиры, как один, вышли на платформу вокзала. Все пути были запружены и забиты составами. Тоскующими глазами девочки смотрели на рельсы: когда же удастся поехать?

Крестьянские домики разбросаны по полям. Ничего не изменилось. Солнце продолжает отражаться в окошках маленьких домиков, чьи крыши покрыты разноцветной черепицей, как мозаикой.

Из вагонного тамбура, через стеклянное окно закрытой на ключ двери эсэсовец в металлической каске заглянул в вагон. На нем автомат, раскачивающийся в такт движению поезда. Его пост—тамбур. Отсюда он следит за девушками.

Домики, крестьянские домики... Ей удалось выбраться из ябловского базара в темноте, когда уже спустилась ночь. Немцы тогда согнали всех евреев в район рынка. Пятый ее класс разбежался кто куда. Ученицы растеряли друг дружку. Пани Хелена не переставала взывать: «Девочки —

вместе! Только вместе!..» Где-то в толчее, в невероятной тесноте отдавалось сквозь вой и гомон эхо голоса пани Хелены. Как Даниэла могла найти в себе силы и убежать? Она не помнит, как бежала, сколько бежала. Если бы не медный ободок на переплете ее дневника, уложенного в наплечный мешок, возможно, сейчас она не была бы на пути в концлагерь. Дневник лежит на кафельной печи в «точке». Ей уже нет надобности в дневнике. Что это может дать, что это может прибавить? Все стало ненужным. Все лишнее. Все потеряно. Ее тоже не станет. Никто не останется. Может, кто-нибудь, когда-нибудь найдет ее дневник?

О, эти хаты! Кто из их хозяев пустит ее в дом? Она стала бы обрабатывать им поля. Она помнит, как бежала из ябловских лесов просить помощи. Риша Маерчик валялась на земле и умоляла: «Спаси меня, Даниэла!.. Спаси!..» Кровь сочилась сквозь рукав ее пальто, Даниэла забегала в крестьянские дома просить о помощи. Польский крестьянин накричал на нее: «Жидовка! Вон отсюда!» А что бы у не-

97

го убавилось, если б он спрятал ее? Она опустилась на колени перед их дочерью, целовала ей руку, чтобы та замолвила словечко перед отцом и матерью. Она орошала своими слезами руки маленькой полячки. Но та только скашивала глаза в сторону брата и отвечала сдержанным ржанием, сконфуженная, что ей целуют руки и просят о снисходительности и жалости. Она смеялась, вытирая влажные от слез руки.

В углу дома висела икона богородицы над светящейся лампадой...

Теперь солнце снова отражается в окнах домов. Поля покрыты зеленью. Поезд бежит, спешит. Куда?

Нет, это не ученицы ее школы. Те были убиты на ябловском рынке. Она долго не верила, что спаслась. И вот ее везут... Опять с девушками. Но куда? Может быть, на сей раз снова на рыночную площадь, но в другом городе. Поезд следует без остановок. «Колеса бегут к победе!»

Феля смотрит прямо перед собой. Тихо шепчет: «Обманом меня затянули в «Дулаг». Поймали как мышонка в мышеловку. Теперь мне понятно, почему несколько ночей тому назад мне сказали, чтобы я ночевала в «точке». Я дала себя поймать, как рыба в сеть. Как это я не поняла раньше? Абрамек Гланц сказал мне, словно обидевшись: «Что это значит, Феля? Тебя я пошлю в этап? Что тебе пришло в голову? Ты ведь наша, ведь в твоей карте пропуск, я сам его подписал». Да, обманом меня затащили сюда. Обманом...»

Даниэла никогда не видела Фелю такой. В гетто Феля считалась избранной. Ночи, проведенные в милиции, лишь укрепляли в ней уверенность, что ни один волос не упадет с ее головы. Других евреев пошлют на смерть, а ее минет чаша сия. Нет, не та уже Феля! Даниэле теперь хочется поддержать, подбодрить Фелю, утешить ее. У самой Даниэлы в пути уже притупился страх. Может, потому, что она давно уже ощущает над своей головой занесенный топор, называемый «трудовой лагерь». А может, потому, что в «Трудовом лагере» она надеялась встретить Гарри. Трудно,

98

правда, предположить, что там, куда ее везут, находится Гарри, и что они смогут жить вместе. И все же где-то в подсознании теплилась надежда.

На лице Фели отчаяние. Словно вся боль этой «акции» сосредоточилась в ней. Она смотрит прямо перед собой и твердит шепотом: «Как мышонка в ловушку... Обманом меня заманили в «Дулаг»...

Все эти девушки так или иначе были обречены на верную смерть. Не поможет и не вызовет никакой «особый пропуск». Но Феля считала, что она не была в числе приговоренных, что попала в ловушку по своей наивности, совершенно случайно. Это ее мучило и терзало всю дорогу.

За застекленной дверью виднеется черное плечо. Охранник — во всем черном. Только свастика на фуражке красная, как капля крови.

Тогда воспитательница класса стояла у окна и говорила о счастливом завтра — эпохе телевидения. Теперь там виднеется черная тень эсэсовца. У каждого окна вагона поставлен эсэсовец. Мерно раскачиваются дула автоматов. Похоже на то, что они — эсэсовец и его автомат — заняли тут место воспитательницы класса, чтобы снова разъяснить сущность современной цивилизации.

Просторное место, дикое и пустынное. Позади еще слышится визг немцев:

— Выйти!.. Вон!..

Даниэла боялась повернуть голову.

До горизонта, пока хватает глаз, лежала пустая, дикая земля, желтая, покрытая пятнами — следы потушенных костров; огромные скалы; стволы вывернутых деревьев.

Здесь нет и признаков жизни. Единственное, что связывает этот пустырь с внешним миром — железная дорога, проложенная сюда. Здесь она кончается.

Ряды двигаются. По шесть девушек в каждом ряду. Каждой в спину утыкаются автоматы. Земля песчаная, рыхлая. Ступни ног вязнут в ней. Девушки, которые теряют свою обувь на ходу, даже не пытаются нагнуться за ней, поднять ее.

99

Ворота. Над воротами вывеска в виде арки и готическими немецкими буквами написано: «Женский лагерь». А сбоку выведено аккуратно мелом: «Работа от радости»...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Ворота закрылись за ними. Ряды остановились. Напротив — широкая площадь, вдали ручей, опоясывающий лагерь в виде серпа, с переброшенным через него деревянным мостом. Все вымощено камнем. Чистота. Бараки выкрашены в розовый цвет. Боковые дорожки окаймлены грядками красных цветов. На окнах разноцветные занавески, похожие на кружева.

Кровавое солнце медленно спустилось за ручьем.

Девушки робко шептались:

— Видела надпись: «Работа от радости!»

— Меня работа не страшит...

— Здесь, по крайней мере, больше не будем бояться этапа в лагерь. От этого наказания мы уже избавлены...

— Я довольна, что, в конце концов, уже прибыли. Главное, вырвалась из геттовского ада...

— Тут очень чисто. Немцы любят чистоту...

— В гетто думают, что в немецких лагерях убивают людей. Видели вывеску у входа в лагерь? Возможно, здесь работа более легкая, чем в гетто...

— Жаль, не дают здесь жить с семьями.

Даниэла подумала: «Гарри... Если бы она могла найти его... А может, она его встретит? Как только она несколько освоится с местом, сразу начнет расспросы. Возможно, что им удастся работать вместе. Такой лагерь — подходящий для работы до конца войны. Ведь не вечно же война будет продолжаться...»

Вблизи ворот, на скамейках, сидели гестаповцы — охрана лагеря, конвоиры этапа. Теперь они выглядели иначе. Не такие страшные и отталкивающие, как раньше. Немые и усталые, они сидели на скамейках, как носильщики, при-

100

севшие отдохнуть после тяжелой ноши. Кое-кто сидит на корточках, а металлические каски лежат у них на коленях. Непокрытые их головы вдруг оказались обычными, человеческими. Они устали и кажутся обычными людьми.

Тяжелые удары гонга внезапно потрясли воздух и раскатились по всему лагерю. Дремавшие розовые бараки проснулись, будто вспугнутые.

Из дверей барачных вырвались стриженные надзирательницы с дубинками в руках, на рукавах ленты с надписями «Кальфактор»*. На них были голубые передники, пронумерованные узкими полосками, на ногах сапоги.

— Встать!.. Встать!.. Построиться!..

Звуки гонга словно рассыпали по всему лагерю страх. Даниэла уже слышала где-то подобный трезвон. Когда же она стояла на такой площади? Когда она видела точно такую же картину?

— Строиться!.. Побыстрее!.. Не отставать!..

Их поторапливают, подгоняют, бьют дубинками. Даниэла бежит вместе с остальными. Лабиринт барачных. Чуждый и новый мир. Мир весь из барачных. Закоулочки и бараки.

— Не отставать!.. Бегом!..

Из зарешеченных окон видны тени и скелеты. Казалось, что барак доверху набит ими. Они угрожают прибывшим сжатыми кулаками, выплевывают в них проклятия через расшатанные кривые зубы. Люди ли это? Почему они проклинаят?

Откуда им, только что прибывшим девушкам, знать, что «старенькие», из которых уже высосали все соки и замордовали, смотрят на них, как на ангела смерти, пришедшего за их душами? Откуда им знать, что пройдет не так уж много времени, и они также будут выглядывать из этого, отдельно стоящего барака, на новых, прибывших сюда

* Тюремный служитель.

101

девушек? И те, новенькие, будут блуждать взором среди теней мертвецов?..

— Бежать!.. Не отставать!..

Ночь начала спускаться на лагерь.

Женщины, на рукавах которых повязка с надписью «бригада obsługi», сидели за длинным столом и записывали в карточки все подробности жизни каждой прибывшей в этап. По пятьдесят девушек этапа впускали в большой барак — «барак obsługi». В глубине барака, за отдельным столом сидела врач лагеря. На ее руке издали виден красный крест, а около стола молчаливо стояла мужеподобная женщина, холодная, как сталь. Руки ее скрещены на груди, длинный толстый кнут свисает сбоку. Одета она в серый свитер, облегающий ее тело и заправленный в брюки для верховой езды, на ногах высокие сапоги, начищенные до блеска, на руке лента черного атласа с вышитыми буквами: «Главная кальфакторша».

Ее взгляд и тонкая ленточка сжатых губ бросали регистраторш в дрожь.

У входа в барак сходящие встречаются с выходящими девушками: слева — выходящие одеваются в лагерную одежду, выдаваемую им из валяющихся на полу куч старой одежды, а справа — входящие, раздеваются и подходят к столу для оформления.

Вдоль стен стоят кальфакторши с дубинками в руках. Их глаза выражают беспощадность и готовность к убийству.

Выходящим стыдно смотреть в глаза входящим, и они опускают глаза к своим деревянным ботинкам. Стук деревянных подошв о пол страшен.

Вот они где, те деревянные ботинки, сделанные в мастерских! Своими руками они приготовили их для себя...

Станный запах издает передник. Передник старый, поношенный, порванный. Кто знает, сколько девушек прошагали в нем в отдельно стоящий барак, откуда их тела от-

102

правляют в газовые камеры, а передник вновь возвращается в барак обслуживания.

Она стоит голая. Медальон! Куда спрятать медальон?.. Она зажала его в кулак. А может, спрятать его в кучу одежды?.. Ее глаза блуждают по плащу. А может, сунуть в карман плаща?.. В кармане плаща его найдут рабочие на распорке одежды.

Девушки ранее вошедшей группы уже выходят из барака. Их одежда осталась в общей куче. Где же она спрячет медальон?..

Ряд двинулся вперед. Девушки вошедшей группы уже выстраиваются около стола. Тишина. Глаза кальфакторш, нагоняющие страх и ужас, задерживаются на отстающих у куч с одеждой. Что ей сделать с медальоном?.. Вот Феля уже подошла к столу; Даниэла быстро настигла ее и встала сзади, в ряду за нею.

А медальон зажат в кулаке.

Регистраторши записывают все подробно.

— Болела ли?

— Какой болезнью?

— Кто в семье болел?

— Замужем?

— Холостая?

— Половые сношения с мужчиной?

Ряд продвигается вперед. У специального столика одна из регистраторш быстро выкалывает каждой порядковый номер синей тушью между грудой, тут же другая прижимает электрическую печать над номером со словами «Фельд хурэ»*.

У последнего стола, за которым сидела врач лагеря, окончательно определялась судьба каждой девушки. Там решался вопрос, куда направят ее, в какую часть лагеря — в рабочие бригады или в группы «радости».

Даниэла задержалась у последнего стола. Лагерный

врач вглядывалась в красивый стройный стан Даниэлы... Ее взгляд уперся в сжатый кулак Даниэлы.

— Ты родилась с таким дефектом руки, у тебя от рождения сжат кулак? — спросила врач.

В мозгу Даниэлы мелькнуло: «В гетто при отборе людей в этап калеки были обречены на смерть». Она быстро переложила медальон из руки в руку и показала: вот, она умеет открывать кулак!

Молчаливая кальфакторша, державшая руки скрещенными на груди и высунувшая вперед начищенный до блеска сапог, внезапно сказала:

— Покажи, что это у тебя в руке?!

— Фотографии... Фотографии членов моей семьи...

Сжатые узкие бледные губы искривились. Странное выражение — то ли ненависть, то ли отвращение, а возможно, у нее такая улыбка... В той же позе, с опущенными ресницами, давая понять, что Даниэла не стоит ее взгляда, она процедила приказ сквозь редкие зубы:

— Выбрось это говно!..

Искаженное лицо всемогущей властелинши словно увеличивалось перед глазами Даниэлы. Она тихонько молила:

— Единственная память... память...

— Рабочая бригада!..

Эти два слова прозвучали как смертный приговор.

Лагерный врач посмотрела с сомнением на красивое тело Даниэлы и не могла решиться; посмотрела на вытатуированный номер меж грудей Даниэлы и начала что-то записывать в один из лежавших перед ней списков.

Врач еще записывает, а главная кальфакторша высвободила руку, державшую кнут, и размахистым, сильным движением, с той же кривой усмешкой на узких губах опустила кнут с силой на голое тело Даниэлы.

— Завтра сама это выбросишь.

Головы девушек, стоящих у большого стола, повернулись в ее сторону.

Даниэла побежала в сторону выхода. Кроваподтек от

кнута горел на боку, огненные искры еще мелькали в глазах.

Над лагерем пыло равнодушное небо. Блеснула звезда в мглистом небе. Лагерь выглядел громадным, бесконечным, как будто весь мир уместился в его пределах. Красные фонари освещали проволочное ограждение. Далеко, далеко, за проволочной оградой, блуждали тени арестанток в тусклом свете, как жители соседней страны, но чужой и далекой.

У стены барака стояла Фея. Внезапно она увидела Даниэлу и побежала ей навстречу. Они упали друг другу в объятия. Даниэла плакала.

Барак был очень большой и голый. Вдоль стен, в метре от пола, были вмонтированы металлические кольца, как в стойлах для лошадей. Сотни, сотни девушек валялись тут на полу, в бараке «временного пребывания». Это был барак пересыльного пункта для приема новых этапов. Отсюда девушки выходили группами, по пятьдесят человек, в «барак обслуживания», находившийся вблизи, чтобы выполнить первые нужные формальности в лагере. Девушки, возвращающиеся втискиваются среди лежащих, молча падают на пол, и их молчание сливается с молчаливостью их предшественниц.

Страх разъединил их, и они валялись на полу, каждая со своими мыслями, как будто не общая судьба собрала их сюда.

Даниэла сидела, прислонившись к стене. Рана от кнута горела на боку и не давала возможности лежать. Рядом с ней две девушки плакали. Фея лежала тихая, глаза ее были уставлены на пол. Какая-то девушка повернулась в сторону Даниэлы, ее волосы рассыпались по полу. Лицо матового цвета, глаза черные, блестят. Передник с лагерным номером слишком узок, чтобы скрыть ее тело.

— Вот вышла последняя группа,— сказала она.

Даниэла не спускала глаз с непонятной ей татуировки.

— Может, дадут ужин? Целые сутки как мы ничего не ели,— прошептала девушка.

Что это за слова «фельд хурэ», что означает эта странная немецкая надпись? Что это за знак, которым отметили их всех? По правде говоря, собирались ведь всех клеймить знаком еще в гетто. Вначале, когда вышел немецкий приказ, по которому все евреи обязаны носить повязку на левом рукаве, он причинил большую боль. Стыд жег всем лицо. После этого приказа многие старались не появляться на улице, чтобы никто не видел этой повязки на их рукаве. Через какое-то время это стало привычным, обыденным. Опять появились в гетто евреи со всяческими занятиями — продавали, покупали, вели разные дела. Жизнь в гетто шла своим чередом, никто уже не обращал внимания на знак на левом рукаве. Наоборот: родители следили за детьми, а дети за родителями, чтобы при выходе на улицу не забывали надеть повязку. В семьях, где еще следили за чистотой, матери тратили последний обмылок, чтобы выстирать повязку позора. Невесты в гетто преподносили своим женихам знаки позора, сшитые из шелка.

Затем вышел указ немцев, по которому знак отличия евреи должны вшить в одежду. И к этому тоже притерпелись, даже быстрее, чем к первому указу. Многие считали это более удобным, так как знак, вшитый в одежду, избавлял их от вечной необходимости помнить о нем при выходе на улицу.

«Но этот новый знак «Фельд хурэ» — что он означает?— размышляла Даниэла.— Что общего между этим знаком и трудовым лагерем».

Девушка, лежавшая рядом, увидела, что Даниэла не спускает взгляда с выжженной на ее груди надписи.

— Нас отметили особой печатью,— сказала девушка.

— Что означает этот знак? — спросила другая.

Черноглазая объяснила:

— С сего дня и впредь мы являемся собственностью немецкого государства. Мои родители до войны промышляли лошадьми. За два дня до начала военных действий к нам

106

пришли чиновники польского правительства и стали клеймить лошадей печатью «Собственность государства». С тех пор нам нельзя было пользоваться этими лошадьми. Тут то же самое: поставленные на нас клейма — доказательства, что мы являемся собственностью немецкого государства. До конца войны мы являемся собственностью немецкого государства. Будет хотя бы кому о нас позаботиться. Не как в гетто, где мы бесхозные, и каждый владеющий немецкой речью мог над нами издеваться и делать, что ему заблагорассудится.

Феля подняла голову, посмотрела на девушку, разъясняющую значение этого знака и опять устала в пол. Ее сердце подсказывает совсем иное. В памяти всплывают отдельные фразы, намеки, услышанные ею от дружинников. Еще в «Дулаге» ей сказали: «Это особенный этап, транспорт, ничего общего не имеющий с трудовыми лагерями...» Тогда она не придавала значения этим словам. И только теперь до нее начинает доходить многое, чему раньше она не придавала значения. Только теперь она постигает истину: в этап были выбраны самые красивые девушки. Ведь сам Моник составлял списки. Феля знает, что до тех пор он лично не принимал никакого участия в подготовке «акций» для трудовых лагерей. Они обычно готовились милицией, под руководством «особого наблюдателя» от немцев. Он давал указания дружинникам, чтобы ловили только тех девушек, которые не работают в мастерских. На сей раз «акция» велась под началом гестапо, и никто из «особого наблюдения» не появлялся. Почему сейчас в это дело вмешалось гестапо? Почему послали девушек, работавших в мастерских? И главное: чем объяснить, что отсюда не освободили ни одну из них? А тут ведь есть дочери геттовской знати. С каких это пор деньги перестали соблазнять деятелей юденрата? А протекция?

— Вот возвращается последняя группа,— сообщает черноглазая.

Напротив, на полу, лежат сестры из Тшебина. Они лежат обнявшись. Каждая хочет подложить руку под голову

107

другой, чтобы ей было мягче лежать. Все тут несчастны, но они несчастнее остальных. Хана села, оглядывается вокруг, а Цвия следит за ней испуганными глазами. И на них узкие передники, не закрывающие тело спереди. Между их грудями тоже выжженный знак «Фельд хурэ». И они не знают значения этого знака, но их губы шепчут:

— Господи! Не отвернись от нас!..

Двери барака открылись стремительно, с шумом. Никакого приказа не было, но все до

единой вскочили со своих мест. Главная кальфакторша и ее помощницы вошли в барак. Красная надпись сверкала на черном бархате повязки. Достаточно было увидеть их, чтобы у любого живого существа кровь застывала в жилах.

— Каждая должна посмотреть на вытатуированный на груди номер и выучить его наизусть, запомнить его, — звучит приказ.

Регистраторша «группы обслуживания» громко выкрикивает номера по списку. Кто вызван по списку, отходят в сторону.

В каждом номере пять цифр. Измученные, встревоженные девушки просят одна другую, чтобы им прочли вытатуированный номер.

Цифра Даниэлы была: А-13653 «Фельд хурэ», а цифра Фели: А-13652 «Фельд хурэ».

Даниэла и Феля увидев, что выжженные на живом теле их номера рядом, бросились друг дружке в объятия. Цифры рядом! Значит, их не разлучат! Они всегда будут рядом, будут жить вместе!

Когда выкрикнули номер Фели, Даниэла хотела уже пойти следом. Но выкрикнули другой номер, более далекий, не порядковый. Ее не вызывали. Вызванная девушка вышла и встала в стороне.

«Рабочая группа!..»

Сатанинская улыбка главной кальфакторши внезапно возникла в памяти Даниэлы. «Рабочая группа»... Что кроется под этим словом? Хорошее или плохое? А может, только из-за незнания так страшно.

108

Красивейшие из девушек были выделены в особую группу.

У входа в барак висит голова главной кальфакторши, стриженная под мальчика. «Завтра сама выбросишь это говно!..» Если бы хоть Феля осталась с ней! Глаза закрываются от боли.

Две большие группы построены в ряды. Вызванные номера шагнули влево, в сторону здания «сектора радости», а невызванные повернулись в противоположную сторону — в «сектор работы».

Тусклый фонарь освещал вход в барак, над дверью которого был прикреплен номер 29. Это номер ее барака, где предстоит жить Даниэле. Она толкнула дверь и вошла.

Ошеломленная, она остановилась, как вкопанная, и стала осматриваться: неяркая пустота барака, посередине которого тянется длинная дорожка, погружена в полумрак. Множество теней двигаются туда-сюда, не зная, куда и зачем, безостановочно, без передышки. Все видится так, как предметы через слой мутной воды. Наверху, в углублениях балок, горят несколько лампочек, освещающих помещение тусклым светом. С того места, где Даниэла остановилась, невозможно разглядеть конец барака. Длинная без конца дорога, а с обеих сторон, вдоль стен, два ряда деревянных нар, один ряд над другим. На них лежат или сидят притиснутые одна к другой тени, завернутые в тряпки. Тряпки на ногах, на головах, повсюду. Невозможно разобрать ни возраста, ни пола. Скелеты.

Сзади нее с шумом раскрылись двери. Кальфакторши, вооруженные дубинками, показались в дверях и проревели:

— Подняться на нары!!

Даниэла побежала к нарам, хотела уцепиться и подняться наверх. Но сверху ее встретили разинутые пасти, кривозубые рты, гноящиеся глаза. Ее стали пинать, бить по рукам, чтобы не дать ей подняться. Новенькая! Ее лицо свидетельствует, что она новенькая! А внизу кальфакторши бьют

109

дубинками по головам тех, кто не успевает подняться и задерживается на полу барака. Удары падают на головы со звуком, напоминающим удары по пустым горшкам. Даниэла металась в спешке от одних нар к другим, и наконец-то ей удалось втиснуться в ряд и подняться наверх.

На нарах была раскидана тухлая солома, как в запущенном коровнике. Соседки отворачивались от Даниэлы с ненавистью, избегая ее, как будто она пришла сюда по своей воле, захватить их места. Теперь они заняты и озабочены. Они не могут заняться ею. Каждая из них держит между ног ржавую жестянку из-под консервов. В жестянке порция грязного чая. Лихорадочно они ждут, чтобы им дали порцию хлеба. Нет, им некогда заниматься ею. Она, новенькая, полагает, что останется жить после них, потому что она новенькая. Но пусть подождет немного. Завтра, в «бауштеле», ее научат жить.

Двери опять распахнулись. В них появились две кальфакторши. Одна провизжала:

— Тихо!..

Две арестантки несут в руках корзину, наполненную порциями хлеба грубого помола; кальфакторши с поднятыми дубинками сопровождают их сзади. Кальфакторши, шагающие позади, кидают каждой арестантке порцию хлеба. Хлеб грязный, порция ничтожна, но этим надо удовлетвориться до следующего дня.

Даниэла поймала брошенную ей порцию хлеба, зажав ее в руках. Хотя со вчерашнего дня она ничего не ела, она не ощущает голода. Наоборот: если бы ее заставили есть, она не смогла бы проглотить ни кусочка.

Соседка крепко держит обеими руками хлеб и рассматривает его горящими глазами со всех сторон. Ржавая банка с чаем зажата между коленями. Она раскрывает рот, обнажая источенные большие зубы. Кажется, она тут же разжует всю пайку хлеба. Нет, она только приближает хлеб к зубам, и опять отнимает его, зубы как бы только прикасаются к хлебу, но дают ему улизнуть обратно в руки. Хотя порция уменьшается, но следов на хлебе совсем не видно. Порция

110

хлеба уменьшается, пока от него ничего не остается, но зубы продолжают молоть, они впиваются в пустые, грязные руки, где раньше был хлеб. Закончив облизывать руки, женщина повернулась к Даниэле и уставилась на ее порцию, лежавшую еще целехонькой в руке. Глаза впились в порцию черного хлеба, взглядом она его всасывала и проглатывала.

Даниэла огляделась вокруг. Она еще не пришла в себя. Неужели это все не сон? И тут же почувствовала, что на нее уставились молящие глаза. Вместо ненависти, бывшей раньше в этом взоре, появился теплый взгляд, жалкий, как из глаз старушки, знающей боли другого. Их взгляды встретились. Старуха устало опустила голову и не издала ни одного звука, ни вздоха.

Сердце Даниэлы сжалось.

Соседка опустилась на солому, повернувшись лицом к Даниэле. Она не могла отвести свой взор от пайки хлеба, еще лежавшей в руке новенькой. Даниэла поспешно протянула пайку старухе.

— Кушай, — оказала она.

Медленно старуха подняла голову над соломой, посмотрела на новенькую с опаской, как бы не веря своим ушам. Но видя протянутый хлеб и убедившись, что руки новенькой не тянутся назад, старуха схватила ломоть с быстротой хищного зверя и спрятала его в ожидании. Теперь она готова убить и быть убитой за этот хлеб.

Старуха с поспешностью впилась в пайку. Она еще не верила в реальность происходящего. Она смотрела на Даниэлу и глотала, смотрела и глотала. Поднесла банку с чаем к губам, но внезапно поставила ее на прежнее место, перестала жевать, закрыла лицо огрубевшими руками и разразилась ужасающим плачем. Маленький остаток хлеба лежал около ее ног, на соломе.

Даниэла обняла старуху, и та прижалась к ее груди. Постепенно она успокоилась.

Даниэла нежно гладила голову старухи.

Кругом арестантки были погружены в сон. Старуха спросила слабым голосом:

111

— Откуда тебя привезли?

— Из третьего еврейского квартала, — ответила Даниэла.

— А я из первого, — сказала та. — Там еще остались евреи?

— Многие работают в мастерских.

— Моя фамилия Зайднер. Рена Зайднер. В первом сборном пункте нас разъединили, и я попала сюда. Из первого этапа, попавшего сюда, никого, кроме еще одной, не осталось в живых. Вот те, что напротив, из «Дома кукол», те пока живы. Случайно не слышала ли ты, может, кто из моей семьи, живших в «точке», уцелел? Мы жили на Словацкой, 19.

Даниэла не знала такую семью. Кроме Гарри она никого не знала из первого квартала. «Дом кукол»... Что это значит!.. Что делается в этом лагере? Что он представляет собой?

— Я сама из Конгрессии, — ответила она — Из-за войны я застряла в столице. В еврейском квартале я никого не знала. Что происходит здесь? Есть ли тут мастерские? Что там, на той стороне?

Когда Рена Зайднер услышала слова «на той стороне», ее глаза зажглись уничтожающим блеском.

— Те, что там, жрут наш хлеб! Колбасу, маргарин, две порции супа каждый день. Чаю, сколько хотят. В санитарный день ты увидишь, какие они пухленькие, упитанные. Из нашего лагеря ежедневно выносят мозельманок в отдельный барак. Для них назначают санитарный день

только, когда привозят новый этап. Так или иначе, мне не протянуть долго. Мне так хочется увидеть кого-нибудь из моей семьи, прежде чем меня отправят в крематорий...

Старуха упала на солому, обессиленная. Даниэле так и не удалось вытянуть у нее подробности о лагере. Сердце Даниэлы замерло. Она чувствовала, себя виноватой в горе этой старухи. Ее появление из того мира вызвало в душе той видения прошлого, без сомнения, она разбередила ее раны. Чтобы отвлечь ее от мрачных мыслей, она спросила:

112

— Госпожа Зайднер, сколько вам лет?

Старуха повернула в ее сторону пустые глаза. Без движения, погруженная в свои видения, она ответила с полным безразличием:

— Когда началась война, я была в пятом классе гимназии...

Даниэла замерла. Ей захотелось вскочить и убежать. Крикнуть от ужаса.

Среди балок перекрытия прикреплены две тусклые лампочки, как два раскрытых глаза, наблюдающие за сотнями женских тел, распростертых на нарах. Они выглядели, словно тряпье, пропитанное сыростью и плесенью. Женщины спали. Их дыхания не было слышно.

Рена Зайднер, старуха, не кончившая еще среднюю школу, тоже впала в сон. Из открывшегося рта торчали верхние зубы — большие, выпирающие из обнаженных десен.

Даниэла закрыла голову обеими руками, как бы защищаясь от ужаса, спускающегося на нее.

Она ведь почти однолетка с этой старухой...

— Встать!.. Встать!.. Встать!..

После трехкратного выкрика кальфакторш на соломе начинается паника. Все соскакивают с нар. Причем так поспешно, как будто всю ночь провели в ожидании этих выкриков.

Рена Зайднер расталкивала Даниэлу, чтобы спасти ее от ударов дубинки. Прошли минуты, пока Даниэла сообразила, где она находится.

На дворе еще царила темнота. У дверей барака раздавали чай — мутная водичка, настоянная на траве. Все женщины выстроились в очередь с ржавыми банками в руках. В течение всего дня эти жестяные банки висят у лагерниц на боку, на веревочке или на проволоке, которой они завязывают свои халаты без пуговиц.

Рена вернулась от бочки раздачи. Она нашла Даниэлу и дала ей банку с чаем. Даниэла два дня подряд ничего не ела и не пила, но один взгляд на эту ржавую банку вызвал у нее приступ рвоты.

113

Работа начинается в шесть утра. Надо приготовить инструмент. Горе тому лагернику, у которого Хентшель, надсмотрщик, найдет инструмент не в порядке.

К месту работы собрались сотни лагерниц. Второе крыло лагеря, с его красными цветами и розовыми бараками, отсюда не видно. Как будто его нет. Здесь же ямы, рытвины, каменистая почва. Никто не знал, да и не спрашивал, что тут строят. Тысячи жизней уже поглотила эта земля, и ни одна из жертв не знала для чего и почему. Пока удастся выровнять участок земли, гибнет целый транспорт девушек. Вновь прибывшие не знают, чем занимались до них и не увидят, чем будут заниматься после них.

Все бегут чистить свой инструмент. Хентшель проверяет, чтобы на черенке лопаты не осталось ни единой песчинки. На площади Даниэла вдруг увидела Хану из Тщебина, старшую из двух сестер. Хана упала ей на шею и разрыдалась. Та Хана, что всегда носила в себе свое горе, никогда не жаловалась, не плакала, а принимала все со смирением, как божье наказание. «У меня забрали мою сестру! Вчера нас разлучили и моя младшая сестра Цвиеле не сможет сама спасти себя». О первой своей ночи в бараке, где она была среди живых трупов, Хана не говорит. Она сокрушается и плачет только о своей младшей сестре Цвии. Почему разлучили их?.. Как там Цвиеле обойдется без нее?..

Даниэла смотрит на Хану и молчит. Разве не так же ей было тяжело, когда она узнала, что Гарри исчез?.. А вчера, когда ее разлучили с Фелей?..

— Давай, Хана, держаться вместе,— сказала она, взяла ее под локоть и по пути рассказала ей о своем знакомстве со старой лагерницей.— Вон она там, чистит свою лопату.

Они подошли к Рене Зайднер.

Рена выглядела теперь моложе, проворней и более живой, чем вчера, когда лежала на соломе. Она сидит на земле и камнем точит лопату. Рена улыбается им, а ведь после прибытия нового этапа здесь устраивают селекцию. Большой автомобиль въезжает в «бауштеле», и Хентшель, от-

бирая женщин, велит им оставить лопаты и лезть в этот автомобиль.

— На небо, моя милая! Там теперь строят автостраду!.. Так шутит Хентшель, когда его работницы, из которых он уже высосал последнюю каплю жизни, карабкаются в автомобиль, везущий их в крематорий. На место увезенной он ставит другую, новенькую. Все идет, как бы по замкнутому кругу.

Рена Зайднер легла на желтый песок. Хана закончила чистить свою лопату и тоже прилегла отдышаться. Лопату она кладет на себя, острием к груди, к сердцу.

Рена довольна. Сегодня работу начнут на пару часов позже, и это ей кажется подобием праздника. Сегодня она сможет немного отдохнуть, а в любой другой день она уже к этому времени устает. Точно, сегодня ад начнется с опозданием на пару часов, так как вчера прибыл новый этап в «крыло радости», и там утром устроят экзекуцию. А раз так, Рена может пока полежать в свое удовольствие на песке. Сегодня праздник в лагере.

— Вот эти там, из «крыла радости» жрут хотя бы досыта, прежде чем наступает их срок отправиться в газовую печь. В конечном счете, их тоже вывозят отсюда в том же автомобиле. Но пока они живы, они не так мучаются от голода. Там их откармливают нашим хлебом, нашими порциями повидла, они набивают себе брюхо, жиреют! Что касается побоев, достаемых им напоследок — то мы их получаем каждый день в полную меру!..

Три сильных удара в гонг разнеслись по всему лагерю. Кальфакторши выбегали из бараков с вытянутыми в руках дубинками, опуская их безжалостно на головы лагерниц, подгоняя их к площади экзекуции. Все арестантки обязаны были присутствовать на площади во время проведения «публичного очищения».

Каждая часть лагеря отделена от другой двумя рядами колючей проволоки; между рядами проволоки находится площадь экзекуции — площадь смерти.

Кальфакторши из «крыла радости» выводят около два-
115

дцати совершенно голых девушек и привязывают каждую к специальному стулу. Около каждой из этих жертв стоит кальфакторша с дубинкой в руке. Главная кальфакторша дирижирует наказаниями. Это и есть очистительное мероприятие. Глаза всех устремлены в ее сторону, в ожидании знака для начала действия, но она не спешит, ждет появления Яги, белокурой начальницы лагеря, которая вот-вот должна появиться здесь со своей свитой.

Когда появляется эта «белокурая бестия», главная кальфакторша слегка проводит кнутом по спине одной из кальфакторш — это и есть знак к началу очищения.

Дубинки поднимаются в едином темпе и с немецкой точностью ложатся на голые тела, без остановок, беспрепятственно. Крики рвутся в небо. Но беспорядочно, без всякой немецкой дисциплины.

Машина стоит наготове. Кальфакторши кидают в нее растерзанные тела «очищенных», и, получив свой страшный груз, она отъезжает от «крыла радости» и заворачивает во вторую часть лагеря, чтобы прихватить еще живые скелеты из отдельного барака.

В «рабочем крыле» мозельманки ползут сами и взбираются в машину с большими усилиями.

Голова у Хентшеля походила на луну: круглая, вычерченная как бы циркулем, наголо обрита. Уши маленькие, нос малюсенький и маленький рот — и все это вмонтировано в громадную розовую мясную тушу. А в руке у него — толстая, длинная дубинка.

Когда Хентшель избивал, а избивал он часто до смерти — никогда не удавалось узнать по его лицу, делает ли он это от злости или так, для собственного удовольствия. Он походил на автомат, привезенный сюда для убийств, и автомат этот выполнял заданное с удивительной точностью.

Возможно, что дома у Хентшеля есть жена и дети; возможно, что каждое воскресенье он аккуратно ходит в свою кирху; возможно, что в своей семье, среди родственников

116

и соседей Хентшель известен как скромный и тихий человек. Возможно, что до войны Хентшель работал в какой-нибудь строительной фирме служащим — примерным, исполнительным, а жена ему готовила и давала с собой каждое утро, точно в один и тот же час, бутерброд с куском грудинки для десятичасового его завтрака; каждое утро, в один и тот же час, перед уходом на работу, он целовал свою жену в лоб. Но здесь, в лагере «Работа от радости» Хентшель ежедневно

купаются в море крови, среди неопишемого человеческого горя, которое нельзя передать обычным человеческим языком.

Теми же руками, которыми Хентшель каждое утро, точно в десять часов, вынимал свой бутерброд, заботливо приготовленный нежными пальцами его фрау,— этими же руками он ежедневно отнимает жизнь у ни в чём не повинных девушек.

Возможно, что в такие дни Хентшель возвращается к себе домой, как в свое время с работы в фирме, делает себе ножную ванну. Заходят к нему соседи, завязывают беседу, играют в домино. Хентшель поливает цветы, стоящие на подоконнике.

После ухода соседей Хентшель вытаскивает из жилетного кармана свои часы-«луковицу», заводит их на следующие двадцать четыре часа и начинает готовиться ко сну. Ведь завтра, с рассветом, ему опять вставать для выполнения своего патриотического долга в лагере «Работа от радости».

Девушкам нового этапа не хватает инструмента. Из-за «очищения» Хентшель опоздал в лагерь, и не успел отобрать нужные жертвы. Поэтому и не хватает инструмента. Хентшель собирает всех новеньких, выстраивает их, вглядывается в каждую из них: кто устоит дольше на работе, кто тут же отстанет, упадет?

«Проклятый рыбий народ!» — это его обычная присказка. Они действительно похожи на рыб, вытасненных из воды: есть задыхающиеся тут же, но бывают такие, что живут несколько дольше...

117

У Хентшеля свой оригинальный метод. Он знает, что раньше всего надо показать им, как у него работают. Ему известно, что источник, дающий силу и возможность выполнять любую работу — это страх. И этот страх им нужно внушить тут же, безотлагательно. Метод, давно испытанный.

По грунту уложена рельсовая дорога, по которой везут вагонетки, груженные камнем. Эти рельсы нужно перетащить с места на место. Самая подходящая и полезная работа для девушек из нового этапа.

Хентшель приказывает. Девушки заходят и становятся между рельсами. Они стоят в затылок друг дружке во всю длину уложенных рельсов. Рельсы прикреплены к шпалам, а шпалы под тяжестью вагонеток с камнем погружены глубоко в землю.

Когда все уже готово, Хентшель подает визгливую команду:

— Хватайте!..

Девушки наклоняются к земле, «хватают» руками справа и слева холодные рельсы. А Хентшель орет:

— Поднять высоко!.. Поднять вверх!..

Девушки стоят, нагнувшись, хватают рельсы руками, но они не поддаются. Шпалы так ушли в почву, что кажутся схваченными ею намертво. Девушки нагнулись, как будто в немой молитве просят, чтобы земля сжалилась над ними и отпустила шпалы с рельсами...

Сразу они этого не заметили. Но услышали жуткие крики. Хентшель стоял над Ханой и бил по ее телу без остановок, непрерывно. Он бил ее продуманно, с наслаждением.

Хана лежит на рельсах, а Хентшель пинает ее дубинкой по ногам, по голове, по рукам. Хана катается по земле, вонзается зубами в песок, рвет на себе волосы. А Хентшель стоит над нею, степенный, тихий, без всякого признака раздражения и злобы, и бьет ее толстой дубинкой по плечам, норовит угодить по щиколоткам, по кистям рук — бьет не переставая.

118

— Боже милосердный!!! Возьми меня к себе!.. Боже милосердный!.. Прими меня к себе!.. Господи!!!

Но Хентшель не дает ей умереть.

Не так скоро он отдаст свою жертву в руки господя. Хентшель знает, что Хане предстоит еще долго кричать, прежде чем она испустит дух. Все девушки должны помнить ее крик. Хентшель истязает Хану расчетливо, по системе. Только, чтобы она не впала в обморочное состояние, тогда она перестанет кричать, а это будет означать, что наступает смерть. Все эти сведения он почерпнул из своего длительного опыта.

— Хватать!.. — несется повторный приказ Хентшеля. Девушки кидаются на рельсы, впиваясь в них пальцами изо всех сил.

— Поднять вверх!..

Страх прибавляет девушкам силы, и понемногу шпалы начинают подниматься и вылезать из

челюстей охватившей их земли.

А Хентшель визжит:

— За позвоночники!..

Это значит: выпрямить поясницу и вытянуть руки с рельсами, прикрученными к шпалам. Земля тянет их к себе обратно, не хочет отдать то, что ей принадлежит. Но несутся над головами выпрямляющихся девушек крики Ханы:

— Господи, боже мой!.. Господи!..

И слабые руки девушек несут рельсы.

Кальфакторши бросают Ханин труп в отдельно стоящий барак, чтобы он не мешал остальным в работе.

Хентшель вытаскивает из жилетного кармана свою толстую «луковицу» — ровно десять часов, и садится на краю вагонетки перекусить. Его острые зубы вонзаются в бутерброд, а глазки в это время блуждают вокруг; он, как помещик, разглядывает свое стадо, пасущееся на лугах его богатой фермы.

119

Проверка.

Все девушки строятся на площади «бауштеле» голыми. Яага, «рыжий зверь», и немецкий врач лагеря пришли любопытствовать, что им привезли в новом этапе.

Лагерный врач обходит ряды этапниц и зорко вглядывается в лицо каждой. Дойдя до Даниэлы, он остановился, посмотрел на черный рубец, проходящий под косым углом по ее спине — память кнута главной кальфакторши. Он стоит, удивленный. Неужели? Может ли это быть? Тут, в немецком трудовом лагере, бьют?.. Его лицо не перестает выражать удивление, словно тут произошло что-то такое, что нарушает немецкую этику. Неужели подобное могло произойти здесь? Он показал пальцем на плечо Даниэлы, на место, где начинается рубец. «Когда это произошло?» — спросил он.

Даниэла вспомнила про медальон, спрятанный в тряпье на земле, и промолчала.

Врач вглядывался в ее стройное тело и старался понять, что случилось. Не иначе, как тут произошло недоразумение, ошибка. Вне всякого сомнения — ошибка. Он приказал девушке раскрыть рот, осмотрел ее глаза, пощупал ее груди и, повернувшись к начальнице лагеря, стал с ней шептаться.

Яага подошла к Даниэле, посмотрела на нее вблизи и задала ей несколько вопросов. Не болеет ли она внутренними болезнями? Болела ли инфекционными болезнями? Замужем ли? — почти все те вопросы, что задавала ей регистраторша во время переписи два дня тому назад.

— Нет, — отвечала Даниэла на каждый из вопросов.

Начальница лагеря приказала Даниэле выйти из рядов, одеться и стать в сторону. Когда закончился смотр и остальные вернулись в распоряжение Хентшеля, Яага повела с собой Даниэлу в конторку регистраторши. Там она проверила ее медицинскую карту, приказала срочно явиться словацкой врачихе, той самой врачихе, что записала Даниэлу в рабочую группу.

Когда врач появилась, Яага угостила ее сильным уда-

120

ром сапога в живот. Только после этого предисловия она указала на Даниэлу и процедила со злостью:

— Такой цветок посылают в каменоломню? Много ли таких имеется в твоём борделе?!.

С этой минуты Даниэла была переведена в «крыло радости».

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

В тот день Гарри не притронулся к трем картофелинам Тедека.

Через зарешеченное окно больничной комнаты Гарри слушал пение арестантов: «Девушки, которых я люблю...» — сигнал, что уже возвращаются из «бауштеле». Песни они обязаны петь по дороге в лагерь. Эта — последняя, поют ее приближаясь к воротам лагеря. В самом деле, в этой песне есть какая-то надежда и уверенность. Когда все поют о «грудах Гретель, упругих и стройных, как башни...» уже видны ворота лагеря и можно уловить запах теплого супа, который дадут им, а измученное тело предчувствует нары, где можно будет распластаться и отдохнуть немного.

Гарри выходит на просторную площадь для проверки. Еще немного и начнется перекличка.

Начальник лагеря получит полный отчет о количестве вернувшихся,— в том числе, сколько мертвецов и сколько еще живых. Счет должен сойтись.

Первые ряды входят в лагерь, чеканя шаг. Арестанты выстраиваются на площади по заведенному порядку: низкие впереди, высокие — сзади. Рты еще поют последний куплет песни — «Девушки, которых я люблю...» Входят последние ряды, несущие на плечах трупы. Они кладут мертвецов головами к ногам первого ряда, кладут их рядом, ноги в одну линейку, руки сложены на животе, чтобы, не приведи господи, руки мертвецов не переплелись между собой.

Гарри стоит в стороне, в нескольких шагах от рядов,

121

как подобает врачу. Его глаза блуждают по рядам: где Тедек? Почему его не видно?

Из немецких квартир выходит «Кот». На этот раз без ружья. Он подзывает к себе еврейского старшину и передает ему в руки записку, в которой написаны фамилии двух арестантов. Он приказывает наказать их по всей строгости.

Двадцать плеток по заду! Слышишь, Шпиц?! — кричит «Кот» беззубым ртом еврейскому старшине.

«Кот» — старый, беззубый ээсовец. Концы усов свисают по обеим сторонам его изжеванного рта. Отсюда его кличка «Кот». Он сидит целый день в «бауштеле» и дремлет на солнышке. В перерывах между дремотой он хочет доказать всем и себе самому, что он не спит, а честно служит. Он вытаскивает из бокового кармана черную записную книжку, подзывает кого-либо из арестантов и записывает его имя и номер. Потом, в лагере, он вспоминает об этом, вырывает листок из записной книжки, на котором записал имя и номер лагерника, и передает его еврейскому старшине для исполнения экзекуции, полагающейся тому, кого он занес в записку на «бауштеле». «Кот» стар и ленив, чтобы самому заниматься побоями. Это можно поручить Шпицу, «еврейскому старшине». Ни один еще не встал со скамейки, на которой был наказан Шпицем по записке «Кота».

И пусть все знают, что «Кот» не дремлет. Не спит.

Где стоит Тедек? Всякий раз, когда Гарри всматривается в ряды, он встречается с требовательным взглядом Вайсблюма, всем своим видом показывающего: «Вот я, я на месте!...» Ему хочется, чтобы Гарри увидел его, чтобы, не дай бог, не забыл его. Его мундир инженера обтрепан, воротник смят и засален. Грязное его плечо выпирает из порванного рукава. Голова обрита наголо и забрызгана кровью. Саня, бывало, звала его Принцем Уэльским за его опрятность, за то, что своими силами, без посторонней помощи он добился положения в обществе. Самые красивые и современные здания в окрестности столицы строились по его проек-

122

там. Даже антисемитская городская управа часто обращалась к нему, когда речь заходила о строительстве новых общественных зданий. Дважды в год он выезжал за границу, чтобы следить за новыми веяниями в архитектуре. Он не забывал по возвращении домой тут же явиться к Сане в элегантнейших костюмах, купленных в далеких странах. «Принц Уэльский...» Этот титул шел ему. «Вайсблюмовский галстук», «Вайсблюмовская обувь», складка на шляпе Вайсблюма — служили примером для подражания. Мужчины говорили о его костюмах и о том, как элегантно он одевается. Он был баловнем снобов столицы, ему нравилось, когда красивые женщины засматривались на него и посылали ему кокетливые взгляды. Стоило ему узнать, что Саня поехала на лыжную прогулку в горы, как он тут же появлялся там.

Надо полагать, он был искренне влюблен в Саню.

Теперь «Принц Уэльский» стоит здесь и старается обратить на себя внимание Гарри, чтобы тот не забыл подкинуть ему несколько ложек лагерной баланды.

— Арестанты!.. Слушай мою команду! Стоять смирно!!!

Все арестанты подтягиваются, стоят не дыша, без движения, как мертвецы. Тут же куча трупов, продолжающих лежать головами к ногам первого ряда, утихомиранные, равнодушные; переключка их уже не касается. Они уже свободны, не подчиняются команде, не выравнивают ряды. Только у некоторых лица искажены гримасой ужаса.

Еврейский старшина подбегает к штурмбанфюреру и передает отчет. Штурмбанфюрер обращается к начальнику лагеря и рапортует. Начальник лагеря подходит медленным шагом к первому ряду и считает ноги мертвецов.

Счет сходится. Все в порядке. Проверка закончена. Арестанты разбегаются, устремляясь к своим баракам, чтобы занять места в очереди для получения супа. Каждому хочется быть первым.

Гарри продолжает искать глазами Тедека. Он хочет отвести его в больничную комнату.

Архитектор увлечен общим потоком, но когда ему попадает на глаза Гарри, он поворачивает к нему голову, словно не может принять ре-

123

шение — бежать дальше или задержаться, чтобы Гарри его заметил. Он так и не может, как видно, решиться пропустить свою очередь и бежит к бараку.

Лагерная площадь пустеет. Что-то ужасное начинает проясняться в мозгу Гарри. Но он отгоняет от себя эти жуткие мысли. Из барачков прорываются наружу шум, возня. Бедняги, после того, как поглотили порцию супа, в тысячу раз острее чувствуют мучающий их голод. Там, в бараках еще жаждут жизни а здесь, на площади — смерть. Скоро многие из тех, что так хлопочут в бараках, будут лежать здесь, на площади, голова к голове, безмолвные.

Эти ведь сегодня утром так же шумели, возились...

Может, Тедек уже в бараке? Может, Гарри потерял его в общей беготне? Напряженный взгляд Гарри устремлен к трупам, уложенным у стены, на другом конце площади. Лагерники протискиваются в двери барака к котлам с супом, но эти там, на конце площади, лежат вытянувшись, прямые, не знающие, что переключка уже закончена; они словно окаменели во время переключки, их нужно только разбудить.

За проволочным ограждением появляется эсэсовец без мундира, без каски, в одной майке. Он держит в руках мыло и белое полотенце, степенно шагая в сторону ванной комнаты. Его деревянные шлепанцы стучат по мощенной камнем дорожке. Он насвистывает песенку «Девушки, которых я люблю...»

Площадь пуста. Гарри направляется к стене; он даже не спрашивает себя, зачем он идет туда. Просто он санитар, и в его обязанности входит проверить место, где сложены трупы.

Первым лежит Тедек. Его тело избито и истерзано. Брюки на нем порваны от сильных ударов. Рот искривлен, словно собирается укусить обидчиков. Глаза распахнуты. Он еще живой!.. Вот ведь слышны его слова... В нем застрял крик. Глаза живые... Они зывают о помощи, о спасении.

Тедек! Тедек!..

124

Из барака выходят дневальные. Они уже получили свои порции супа, и теперь должны отнести мертвые тела в мертвецкую. Они начинают тянуть их по земле. Один из дневальных сыпет проклятиями:

— Чтобы холера взяла вас, паршивые! Из-за этой падали не дают поесть суп спокойно!

— Санитар! В бараке уже раздают суп! — говорит один из них Гарри, хватая Тедека за ногу. Гарри нагнулся.

— Я помогу вам отнести его. Он взял Тедека на руки.

Мертвец был легкий, как иссушенный скелет. Гарри несет его в мертвецкую. В это время эсэсовец возвращается из умывальной комнаты. Полотенце накинуто на его плечо, маленькой расческой он приводит в порядок свои мокрые волосы, насвистывая «Девушки, которых я люблю...», стуча в такт песенке деревянными башмаками.

Гарри осторожно положил тело Тедека на пол. Никогда он не видел у Тедека в лагере таких живых глаз.

Ему хотелось сказать:

— Тедек, я ведь положил для тебя в твоём отделении на нарах три картофелины в мундире. Ты съешь их завтра утром перед выходом на работу.

Еще ему хотелось сказать:

— Тедек, честное слово, сегодня ты выглядишь лучше обычного...

В углах мертвецкой показались крысы. В их круглых черных глазах удивление. Они уставились на Гарри, словно вопрошая: «Санитар живой еще или нет? Чего он тут возится? Кому он тут нужен? Почему он мешает нам? Мертвцы принадлежат нам, хотя это и не ахти какая жирная трапеза. То, что «бауштеле» оставляет, весьма скудно!..»

Тело Тедека растерзано и избито. Гарри нагнулся и пальцами закрыл ему глаза.

Тедека уже нет. Гарри уже не уведет его больше в больничную комнату. Последняя из его надежд лежит распластавшись на полу в мертвецкой. Только теперь случив-

125

шееся дошло до его сознания. «Давайте все, как один, восстанем против немцев...»,—умолял тогда Фарбер. Саня закрывала уши, чтобы не слышать. Не потому, что она боялась, просто ей

мечталось, что он, Гарри, переживает войну. Да и он сам не мог примириться с мыслью, что после того, что им пришлось так много пережить в гетто, Саня и Даниэла погибнут под пулями. Теперь он здесь, в мертвецкой немецкого лагеря в Нидервальдене. А что станет с ним, когда все лагерники пройдут через эту мертвецкую? Какую смерть выберут для него немцы? Саня хорошо устроена на работе в мастерской, Даниэла работает в сапожных мастерских особого назначения. Сознание того, что самые дорогие для него люди вне опасности, успокаивает его душу.

Мог ли Тедек обвинить себя в чем-нибудь? Разве он не пожертвовал собой ради других? «Я выхожу из гетто, чтобы тем самым принести жизнь другим...» «Я вымощу дорогу для вас...» Разве этот мозельман не сделал все возможное и даже сверх этого?

Через расшатанную дверь мертвецкой заглядывают лагерники. Они с нетерпением ждут, чтобы санитар ушел. Им нужно раздеть мертвецов — снять с них обувь и тряпки, надетые на них.

Над площадью проверок день уже клонился к закату. Гарри повернулся к выходу. Лагерники издали следили за ним.

Ух, эти глаза! Глаза крыс!.. Те же взгляды... Его охватили отвращение и злоба.

— Гиены! Отвратительные гиены! — кричал он им вслед, еле сдерживаясь от злости. — Каждый, кто посмеет зайти в мертвецкую, получит десять кнутов!

Лагерники пришли в замешательство. Они вертелись туда-сюда, переминаясь с ноги на ногу, не понимая, что происходит? Что это санитар вдруг вмешивается не в свое дело? Один из лагерников посмотрел на свои обернутые в тряпки ноги. Приблизился к Гарри, поднял к нему умоляющий взгляд и тихим голосом спросил:

— Что плохого в этом, санитар? Целый день я работаю

126

на острых камнях, ноги мои изранены. Если я не сниму с них тряпки, их повезут отсюда одетыми... Что тут оскорбительного, санитар?..

Он молчаливо отвернулся от них, направляясь в барак. Перед его глазами стоял жалкий лагерник с искаженным, умоляющим взглядом. Он вспомнил, что Тедек был обут в литые, крепкие ботинки. Он должен был пробираться в них горами и лесами к чехословацкой границе. Сапожник Вевке вложил в них все свое уменье и тепло отцовского сердца.

Что плохого в этом, санитар? Если я не возьму их одежду, их повезут одетыми...»

У входа в барак стояла скамья Шпица для порки. Около скамьи стоял Иче-Меир, сзади него — его сын. Шпиц вглядывается в жертву — пятидесятилетнего, рыжего Иче-Меира, зажав свою палку, как человек, получающий удовольствие от своей работы.

Шпиц орет:

— Занвил Люблинер!.. Быстро, сюда! Скорее! Двадцать раз тебе в задницу!

Шпиц молодой парень, лет двадцати, низкого роста, уроженец Германии. Его сестра работала в бюро «Особого отдела», где-то в центре, из-за чего Шпиц и считался «привилегированным». Она, наверное, постаралась за него. В лагере его назначили «еврейским старшиной». В сущности, никто не знал наверняка, родился ли он в самом деле в Германии или же выходец из Галиции. Он хвалился, что послан сюда из «старого Райха». Он говорил, как настоящий эсэсовец. Нос у него длинный, с горбинкой, серповидный, это придает его лицу хищное выражение.

Рыжий Иче-Меир стоял наготове. Шпиц поглядел на него, но тот не поднял опущенных глаз. Им обоим было ясно, что после «двадцати в зад» наказанного отнесут в мертвецкую. Голова Иче-Меира побрита. Заметна лишь пульсация крови на висках. Из его тощей шеи выпирал жалкий кадык. Сзади стоял его сын, раскачиваясь, как на молитве, не переставая щипать свои костлявые руки.

127

Занвил Люблинер вышел из рядов. Он наткнулся взглядом на Гарри, опустил голову от стыда и продолжал двигаться к скамье. Гарри почувствовал, как в нем стынет кровь. Он подбежал к скамье, у него вырвался крик:

— Нет! Занвил хороший рабочий! Мне нужно сейчас перевязать ему раны. Не разрешу, чтобы его убили!

Шпиц опустил ногу на землю, второй рукой ухватился за палку и потащил ее, как вытаскивают саблю из ножен. Он принял воинственную позу:

— Занвил! Ну, быстро ложись на скамейку! — приказал Шпиц.

— Нет! Я говорю, нет! — крикнул Гарри с силой. Он встал между Занвилем и скамейкой.

Кровь у него словно закипела в жилах, мускулы напряглись. Теперь он был готов на все.

— Нет! Я говорю нет!..

— Санитар! Не вмешивайся! — предупредил его Шпиц. Он ткнул ему в лицо записку. — Вот предписание «Кота»! Кто за это отвечает? Ты или я? — провизжал Шпиц.

— Иди к начальнику лагеря! Подай на меня жалобу! Я принимаю на себя вину! Ты слышишь?! Я беру на себя вину!!

— Я получил приказ и выполню его. Иди ты сам к начальнику и жалуйся. Пойди и скажи, что я убиваю хорошего рабочего. Но берегись, санитар! В твоём носу слишком уже копошатся блохи...

— Не стоит, Прелешник. Не стоит... — сказал ему в спину Занвил. — Не стоит, Гарри.

— Ложись, рыжая падаль!.. — повернулся Шпиц к старику Иче-Меиру. В нём кипела злость. Было ясно, этот еврей обречен, он не встанет живой со скамьи. Гарри чувствовал, что своими руками он поддал жару Шпицу.

В ту же минуту сын Иче-Меира, стоявший за спиной отца, ринулся к скамье, бросился на нее и стал кричать:

— Еврейский старшина, пожалей, пожалуйста! Сжался! Бей меня вместо отца. Дорогой старшина!.. Сладкий еврейский старшина!.. Пожалей, пожалуйста, бей меня!

Рыжий Иче-Меир, стоявший до сих пор, как окамене-

128

лый, внезапно проснулся. Он прыгнул к скамейке, схватил сына за горло, как бы желая задушить его.

— Уйди отсюда, Пини! Вон отсюда! Беги вон!

Из глаз у него брызнули искры, на шее набухла жила, вот-вот она прорвется.

— Вон отсюда, Пини! Пини, уйди!..

Гарри вдруг о чем-то вспомнил. Он подошел к старшине и шепнул ему на ухо:

— Шпиц, у меня в больничной комнате есть «Р-6».

— Раз так, что же ты молчал до сих пор? Блядский выродок! Вернитесь на нары!.. Мои счета я сведу с вами в другой раз! — крикнул он на обоих евреев, подлежащих порке.

«Р-6» — это особая немецкая сигара, деликатес, курят их только «райхсдойчен». Попали они к Гарри странным образом.

В один из дней, когда Гарри сидел у себя в больничной комнате, он услышал, как раскрылась дверь кухни, и кто-то прорвался в полутемный барак, направляясь прямо в больничную комнату. Гарри хотел быстро укрыться в одной из конур на нарах, как он это обычно делал, когда сюда доносились пьяные голоса немцев во время их гулянок, но на этот раз опоздал. В дверях больничной комнаты Гарри увидел лохматую голову немки-блондинки, которую он раньше заметил через зарешеченное окно. Она была пьяна и наполовину раздетая. Она посмотрела на него в каком-то экстазе, потом упала к его ногам, обняла их голыми руками и завывала:

— О, святой! Иди со мной!..

Ворвался, начальник лагеря, поднял ее с пола и увел. Она кричала на весь барак, пытаясь вырваться из его рук:

— О, Христос!.. О, святой!..

Вскоре начальник лагеря вернулся в больничную комнату и с легкой улыбкой сказал:

— Итак, доктор, ты, видно, здорово испугался блондинки «Магдалины». ..

Он вытащил коробку с сигарами из кармана. Прежде, чем он зажег сигару, одна из них выпала и откатилась в угол комнаты.

129

— Больше тебя не будут беспокоить, доктор, — сказал начальник.

Не впервые «выпадают» из коробки начальника лагеря сигары в присутствии Гарри, Это случается каждый раз, когда тот приходит проверять больничную комнату и находит, что все в полном порядке, все хорошо организовано, соответственно его вкусу: бутылки стоят на столе ровными рядами, симметрично, как солдаты. Ему особенно нравится список больничного инвентаря, вывешенный на стене. Он в восторге от бисерного четкого почерка, без единой помарки и кляксы. Не к чему ему придраться, все на должной высоте, исключительно красиво, и тогда начальник лагеря вынимает свою коробку и роняет одну из них.

Для Гарри такая сигара — большое утешение. Можно отвести душу. Он даже изобрел специальную систему, как ее курить. Он не втягивает в себя дым, а жуёт его. Целую неделю он съедает свою пайку хлеба вместе с дымом сигары. Дым перемешивается во рту с хлебом, который

он долго держит во рту. Проглатывает вместе. Никогда раньше он не испытывал такого удовольствия. Просто ощущение райского блаженства от подобного бутерброда. Вообще-то желудок уже не чувствует поступающей в него пищи. Голод не утихает. Наоборот, он рычит, он наглеет, он требует своего.

Совсем по-другому, когда хлеб пропитывается дымом сигары. О, божественный запах сигары!

Теперь, когда Шпиц стоял над своими двумя жертвами, держа в руке палку и никто не мог уже выволить их из его рук, Гарри вспомнил о «подарке» начальника лагеря — сигаре «Р-6».

Занвил Люблинер стоял позади Гарри.

Когда Занвил шел к скамейке, его глаза были сухими. Теперь из них текут слезы.

К Гарри наклонилось лицо Пини с третьего яруса нар. Он распростер свои руки и глухо зарыдал:

— О, санитар... Санитар... Больше он ничего не смог выговорить.

130

Гарри шел к больничной комнате. По дороге его встретил Шпиц:

— Санитар! После последнего удара гонга я зайду к тебе в больничную комнату!..

Гарри ничего не ответил. Возле больничной комнаты он услышал свое имя, повернулся и увидел архитектора Вайсблума.

— Господин Прелешник, я хотел вам сказать, что сегодня эсэсовец убил Тедека лопатой. Может быть, с сегодняшнего дня я смогу получать от вас те полпорции супа, что вы бычно давали Тедеку?

Гарри почувствовал, как кровь ударила ему в голову и заливает мозг. Он закусил губы и поспешил войти в больничную комнату.

Он зажег свет. За дверью выстроилась большая очередь больных.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Только во второй половине дня Даниэла почувствовала некоторое облегчение. Жгучая боль в нижней части живота еще ощущалась, но уже не так сильно. Теперь ей стало легче.

Крупные капли пота стекали с ее голого тела. Только сейчас она почувствовала, что лежит в луже пота. Она лежала с приподнятыми коленями, ноги были привязаны к железным стойкам у краев стола. Время от времени острая боль возвращалась.

Она приподняла голову. Сквозь зарешеченную клетку она увидела в таких же клетках девушек, вышивающих красными нитками цветы по белому полотну. Окно барака было занавешено разноцветной бумажной занавесью, по низу которой были вырезаны кружева, а посередине изображены птицы и животные. Точно такие Даниэла видела издали в окнах розовых бараков, когда ее привезли в этот лагерь.

131

В барак вошел главный немецкий врач с группой помощников. Одетый в белый халат, застегнутый до шеи и с эсэсовской фуражкой на голове. Его лицо было озабочено. Он обходил все клетки и проверял написанное на черной табличке, висящей на крючке у каждой зарешеченной кабинки.

Говорил он тихо, степенно. Точно таким же тоном, когда увидел на теле след от удара плетки кальфакторши.

Он обходил клетки-кабины и смотрел через решетки на находящихся там девушек, как ученый глядит на своих подопытных кроликов. Девушки не поднимали голов от вышивания.

В некоторых клетках находились девушки, опыты над которыми требовали длительного времени: опыты по искусственному осеменению, по зарождению двойни, естественным выкидышам, преждевременные роды, разные методы кастрации и прекращение беременности. Слева были клетки для опытов по хирургии. Тут девушки менялись часто: их лишали естественных женских органов и прививали искусственные; им делали инъекции разными, не испытанными ранее химическими препаратами; на них проверяли действие разных отравляющих таблеток.

Тут же, вблизи барака, разместился «институт» лагеря. Здание было построено у боковой дорожки, среди грядок и клумб красных цветов. Даже проволочная ограда была здесь украшена выющимися пахучими цветами. Посторонний не имел права ступить сюда.

На вывеске было выведено: «Институт по гигиене и исследовательской работе».

Когда прибывал новый этап, то раньше всего их отправляли в барак хирургии «института», предварительно освобождаясь от прежних обитателей. Тут всех до единой стерилизовали. После этого они уже были готовы вступить в «крыло радости». Так как Даниэла была «особым случаем», то ее стерилизовали непосредственно в «институте», в одной из свободных в тот день кабин.

Главный врач приблизился к кабине, где лежала Да-

132

ниэла. Тут он задержался, разглядывая Даниэлу. Ей показалось, что перед ней стоит Шульце в черной гестаповской фуражке и направляет в нее конец своей палки; еще немного — и он убьет ее.

На нее смотрели, как на редкое животное, запертое в клетку.

Главный врач посмотрел на нее и мягким голосом сказал, стараясь ее успокоить: «Не бойся. Завтра ты выйдешь отсюда».

Повернувшись, он закончил фразу, обращаясь к своим ассистентам: «Юнгес» будут иметь удовольствие от нее...»

Из ближайшей комнаты вышла врачиха. В руках у нее была тарелка, в которой плавал кровоточащий кусок мяса, по форме напоминающий человеческое сердце. Главный врач подошел к кабине, где лежала доставленная на тележке девушка. Попеременно глядя то на нее, то на вырванный из ее тела кровавый кусок, он подошел к черной дощечке, висевшей на сетке кабины и перечеркнул белым мелом крест-накрест все написанное. Это означало — объект эксперимента ликвидируется, завтра кабина будет свободна...

Доктор показал на Даниэлу:

— Там надо закончить «уход» и очистить кабину.

В бараке царил тишина, словно в нем и не было живых людей.

Тишина, словно в подземном аквариуме. Кабины были размещены вдоль стен барака. Они походили на клетки зверей, установленные во временном помещении кочующего цирка.

Теперь звери отдыхают. Вечером их покажут публике.

Вошли санитарки с подносами, на подносах красные и белые миски. Санитарки обуты в полотняные тапочки, их шагов не слышно. Молчаливые, они подходят к каждой клетке, открывают дверь, ставят мисочку с едой и закрывают за собой дверь. По указаниям на черных дощечках над сетками кабин они знают, куда какую мисочку подавать. Если черная дощечка перечеркнута крест-накрест, пища

133

туда больше не подается: нужно экономить ее для тех, которых еще не вычеркнули из жизни.

Существо, находящееся в кабине, с напряжением смотрит через сетку. Ему не терпится скорей получить свою миску с пищей. Глаза глядят тускло и тупо из-под длинных густых ресниц. Оно, это существо, не произносит ни единого слова. Когда-то это была красивая, девушка. А сейчас лоб заострен, волосы необычного цвета и как-то неестественно растут. Лицо увядшее и покрыто морщинами, как скорлупа грецкого ореха. Нельзя определить по виду, что это за создание — мужчина или женщина. Оно больше походит на мужчину, а скорее всего на обитателя древних времен. Как это немцам удалось воскресить неандертальского человека?

Из ближайшей комнаты вошла словачка-врач. Она сердитым движением открыла кабину Даниэлы. Очевидно, до сих пор не забыла полученный от начальницы лагеря пинок в живот. Со злостью освободила руки и ноги Даниэлы от ремней и вытащила из кармана белого халата шприц. Воткнув с силой иглу в руку Даниэлы, она проворчала:

— Плохо тебе было в «рабочем крыле», а? Тебе захотелось попасть сюда! Но солдаты тебя научат!..

Врачиха вышла из кабинки, сильно хлопнув дверью.

«Солдаты тебя научат...» Однажды она уже слышала эти слова. «Солдаты научат тебя... Солдаты...»

Вагон электрички набит девушками... Полночь... Наверху мерцает тусклая желтая лампочка... Стенки вагона качаются во все стороны... «Тринадцатый» обнимает девушку, прижимает ее к себе, у него скрипучий голос.

— «Солдаты научат тебя... Если бы ты знала, куда тебя везут сейчас, ты не стала бы вырываться из моих объятий...»

Даниэла села на столе. Она увидела перечеркнутую черную дощечку над кабиной привезенной туда девушки. Голова девушки раскачивалась безостановочно, как вагон электрички. Ресницы опущены, но рот время от времени

раскрывается с выражением отвращения. Даниэла внимательно посмотрела на нее. Лицо показалось ей знакомым. Где же она видела это лицо?

Это ведь та девушка, что лежала рядом с ней в приемном бараке в первую ночь их прибытия сюда! Это ведь она объяснила тогда, лежа на полу, значение слова «Фельд хурэ»: «Мы будем собственностью немецкого правительства, как лошади моего отца, ставшие собственностью польского правительства. С этой минуты мы будем освобождены от забот о самих себе,— сказала она тогда.— О нас будет заботиться немецкое правительство. Они нас будут кормить и ухаживать за нами, никто не посмеет тронуть нас, причинить нам зло...»

«До окончания войны мы будем собственностью немцев»... Для этой, лежащей там, война уже кончилась. И свидетельство тому — крест на черной дощечке, висящей над ее клеткой.

За бараками тянулись красивые аллеи с высаженными деревьями и цветами. Вокруг стен института росли красивые розы. Красные розы. Издали казалось, что здание немецкого института плавают в озере крови...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

«Крыло радости»...

Здесь, в розовых бараках, не били. Тут тщательно следили за телами девушек, чтобы они были в порядке, чтобы они не были в ранах. Здесь, если приходилось наказывать девушку, ей не разрешали больше вернуться в «Крыло радости», ее отправляли без пересадок в газовую камеру!

Тут каждая девушка получала полный комплект новой одежды; каждую неделю — чистое белье. Кормили здесь как в раю, как об этом сказала Рена Зайднер. Провинившиеся, получившие три замечания, по большей части выводились отсюда на площадь наказаний, а там Эльза — главная кальфакторша — устраивала им чистку от грехов. Так это и называлось: «чистка от грехов». После этого «оздоровитель-

135

ного» акта трупы бросали в роковую машину, в назидание остальным девушкам.

Ежедневно сюда прибывают к двум часам немецкие солдаты — погулять и позабавляться с девушками из «Дома кукол». Девушки обязаны полностью удовлетворять все желания высокопоставленных гостей. Если гости оставались недовольны, им достаточно было заявить в бюро при выходе, что номер такой-то не старалась, то есть девушка не хотела оценить предоставленную ей честь, и задела возвышенные чувства воинских чинов доблестной немецкой армии! После трех таких заявок девушка могла считать себя обреченной.

Эльза, главная кальфакторша, являла собой пример чистой расы. Зеленый «Угольник преступления» на ее коричневом свитере свидетельствовал, что еще перед войной она была осуждена к вечному тюремному заключению. Что она натворила, чем заслужила такую тяжелую кару — этого никто в лагере не знал. Известно лишь, что, когда немцы создали здесь лагерь, ее освободили из тюремного заключения и привезли сюда на должность главной кальфакторши. И как потом выяснилось, выбор оказался очень удачным,

Эльза из Дюссельдорфа — властелинша в «Крыле радости». Определить ее возраст почти невозможно из-за нескольких ножевых ран на лице. Тело тонкое, поджарое,— она это подчеркивает, одевая обычно жокейские штаны для верховой езды, облегающие ее стан и заправленные в сапоги. Узкие глаза и тонкие, сжатые губы. Тусклое лицо этого чудовища со множеством шрамов пылает огнем необузданной похоти.

Возможно потому мужчины всегда отворачивались, от нее с брезгливостью. И здесь, в «Крыле радости», ее снедает зависть к своим подданным. В ней кипит ненависть к ним, и она вымещает на них свою звериную злобу. В часы «обслуги развлечением» она расхаживает по бараку, стараясь привлечь к себе внимание немецких гостей. Она всячески подчеркивает свое арийское и высокое происхож-

136

дение, но это мало помогает. На ее намеки и предложения солдаты не реагируют, предпочитая заходить к ее презренным прислугам, размещенным в бараках...

За приставание к гостям она, эта всемогущая, уже однажды получила публичную порку, когда почти силой принудила гостя удовлетворить ее вожеления. Солдат вырвался из ее объятий,

плюнул ей в лицо и пошел в бюро жаловаться. Тогда вышла из своей комнаты Яга — начальница лагеря и своим плетеным прутом обрушила на ее голову град ударов. Эльза перенесла молча эти удары, только губы ее искривились в зверином оскале, маленькие глазки бросали взгляды, полные лютой ненависти в сторону «рыжей бестии». Она знала, что Яга часто ездит к своему любовнику, начальнику соседнего лагеря, в Нидервальдене, утолять свою похоть. Но Эльза также хорошо знала, что она обязана покорно принимать побои от Яги. Ведь в глазах Яги Эльза не больше, чем заключенная, одна из многих лагерниц, над которыми ее власть не ограничена. Свою злость и неудовлетворенность главная кальфакторша вымещала на девушках, над которыми господствовала.

В часы «обслуги развлечением» она вертится в бараках, наблюдает, подсматривает, будто для того, чтобы удостовериться, выполняют ли девушки свои обязанности с должной преданностью, удовлетворяют ли они желания своих гостей надлежащим образом. Она часто говорит гостям, что они имеют право жаловаться в бюро на любую из девушек, выказавшую равнодушие к гостю.

Эльза стремилась загасить огонь своих неудовлетворенных желаний кровью этих девушек. И вершина ее наслаждений — «очищение от грехов», публичная порка до смерти на площади.

После часов развлечения, когда солдаты уходят, Эльза мечется по лагерю, как разъяренный зверь. Не однажды Эльза хватала какую-нибудь девушку, заталкивала ее в свою кабину и набрасывалась на нее, вдыхая запах только что ушедшего мужчины. Если девушка не отвечает на

137

ее похоть — конец. Эльза хорошо знает, как устроить такой девушке «рекламацию».

Нет большего удовольствия для Эльзы, чем доложить, что у девушки уже набралось три «рекламации». Девушка стоит перед ней, как загипнотизированная. Ее тело и душа теперь целиком в распоряжении главной кальфакторши. Эльза разжимает свои тонкие губы и обнажает маленькие, редкие зубы. Она смотрит на девушку, как удав на свою жертву, и медленно выдавливает из себя:

— Я тебя очищу... Теперь ты вся принадлежишь мне... полностью мне... Но перед этим пойди со мною...

Глаза Эльзы впились в ее глаза. Та не кричит. Не плачет. Не убегает. Она смотрит в лицо Эльзы и видит в нем площадь казни. Эльза обнимает ее и общупывает руками. Из ее безобразного рта снова и снова вырываются слова:

— Я очищу тебя... Очищу тебя... Но перед этим зайди со мной в кабину...

Они бредут в ее, кабину, словно для выполнения некоего ритуального обряда.

Когда Даниэла пришла на площадь «Крыла радости», ей навстречу выбежала Цвия из Тщевина. Ей очень хочется узнать, что с ее сестрой.

На минуту Даниэла остановилась, как оглушенная громом. К такому вопросу она не была готова. Барак, откуда она пришла, вытеснил полностью воспоминания о рабочих отрядах. Но теперь все опять всплыло перед глазами: Хентшель ходит вокруг Ханы и заступом бьет ее.

Даниэла стояла растерянная, а Цвия смотрела ей в рот, ожидая ответа.

— В чем дело, Даниэла? Что случилось?..

Ланиэла. как человек очнувшийся после сильного удара, выпалила:

— Что там делает Хана? Она работает, как все остальные...

138

Она удивилась тому, что произносит эти слова сердито, с обидой.

— Я слышала, что там работают очень тяжело. Как она себя чувствует на работе? Она ведь слабая, — добавила Цвия озабоченно.

— Как чувствует себя Хана во время работы? — повторяет Цвия свой вопрос.

Даниэла ищет возможность уйти от этой страшной темы. Проволочные ограждения и кровля барачных кружатся в ее глазах. Еще секунда, и она упадет.

— Хана чувствует себя там, как и другие!.. — отвечает она быстро.

— Я решила во что бы то ни стало перейти в рабочие отряды, — говорит Цвия. — Я не хочу быть здесь, даже если меня за это убьют. Хочу быть вместе с Ханой. Не желаю я больше сидеть в этих нечистотах!

Даниэла посмотрела на нее.

— Цвия, ты сошла с ума, что ли? Цвия, пожалей себя!..

— Я уже сообщила об этом главной кальфакторше, — отвечает Цвия.

Даниэла ласкает ее обеими руками.

— А что сказала тебе кальфакторша?— спросила она.

— Когда у тебя будет три «рекламации», я отошлю тебя к Хане,— повторила наивно Цвия слова главной кальфакторши.

В семь часов утра в розовых бараках происходит проверка «заправки кроватей». Эльза, главная кальфакторша, ходит вместе со своими помощниками из барака в барак, проверяет, как заправлены кровати. Здесь, в «Крыле радости», кровать — божество, которому девушки приносят ежедневную жертву.

В ногах каждой кровати висит тот же номер, что выжжен у девушки между грудями. Тут широкое поле деятельности для Эльзы из Дюссельдорфа, чтобы придрататься и подготовить почву для получения «рекламации» во время «часов наслаждения».

В каждом бараке установлены по пятьдесят кроватей, одна против другой, по двадцать пять с каждой стороны, а в середине проход. В головах каждой кровати узкий шкаф, куда гостям можно вешать одежду во время «часов наслаждения!» В шкафу наверху имеется маленькая полочка, где стоит посуда. Горе девушке, если посуда будет хоть чуточку грязной, если ложка не будет лежать так, как должно, если запах миски не понравится Эльзе. Подобное пренебрежение к посуде означает, что владелица этой посуды не считается с эстетическими чувствами высокопоставленных гостей, которым тоже нужно пользоваться тем же шкафом. За такие проступки Эльза наказывает провинившуюся своими особыми наказаниями, которые в конце концов, рано или поздно, приводят девушку к «рекламации».

Рано утром, как только прозвучат удары гонга, в бараках начинается толчея и переполох: наступает время заправки кроватей! Каждая девушка делает это лихорадочно, руки у нее дрожат, вся она встревожена: удастся ли ей сегодня хорошо заправить кровать?.. Будет ли удача?.. А если, не дай бог, неудача?..

«Господи, боже! Помоги мне!»— шепчут их губы, а руки лихорадочно делают свое дело.

Кровать — это узкий ящик, длинный и наполненный древесными стружками; на кровати белая простыня и подушка, набитая стружкой.

Простыня на матрасе должна лежать совершенно гладко, чтобы нигде не было ни одной морщинки, ни одного выступа. Для этого надо раньше всего повозиться с опилками, которые от многократного лежания твердеют слипаются.

Появилась строжайшая установка, что матрас с простыней должен возвышаться над кроватью на десять сантиметров. Точно десять! Не больше и не меньше! А вместе с верхним покрывалом — на пятнадцать сантиметров.

Одеяло должно покрыть всю длину кровати, быть гладким и ровным. Если на постели будет обнаружен хоть

140

один волосок или малейший признак пыли и грязи — хозяйке этой постели несдобровать.

«Кровать — святая святых!» — гласит вывеска на стене каждого барака.

При проверке девушки стоят смиренно, каждая у своей кровати. Кровать — это как бы продолжение ее самой. Это, пожалуй, главная часть ее тела, вся ее жизнь уложена в эту кровать, в этот узкий серый ящик.

«Господи, помоги мне!.. Помоги, о, боже!..» — несется молитва над кроватями.

Эльза подходит к первой кровати, становится на колени и закрывает один глаз; вторым она проверяет — соблюдены ли десять сантиметров. Линия должна быть ровной над всеми двадцатью пятью кроватями. Эльза ведь из Дюссельдорфа, она чистой расы, обучена немецкой точности, она покажет этим говнючкам, этим еврейским шлюхам... Если она находит какую-нибудь кровать не в порядке, это тут же записывается в книжечку. Эльза смотрит на свою жертву, руки сложены на груди, одна нога в начищенном сапоге выставлена вперед. Рот искривлен. Она посмеивается, обнажая свои мелкие острые зубы. Если провинилась красивая девушка, она вдвойне радуется. Красивых девушек она ненавидит лютой ненавистью.

После проверки кроватей Эльза собирает провинившихся и приказывает своим жертвам сидеть в положении «согнутые колени»: сидеть почти без опоры, когда колени согнуты, а руки заложены за голову. Так они обязаны сидеть до начала «часа удовольствия».

После такой позы девушки не могут двинуть ни рукой, ни ногой. Тело деревенеет и, опираясь на плечи друг другу, они направляются к кроватям, чтобы выполнить свое предназначение в «часы удовольствия».

После проверки постелей начинается проверка посуды и одежды. После каждой такой проверки есть жертвы. Так каждый день.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

В бараке тишина. Девушки сидят на своих постелях, спустив на пол ноги. Пятьдесят кроватей установлены в два ряда, на каждой по одной девушке; они сидят спиной друг к другу. Никто им не приказывал сидеть именно так, они сами выбрали эту позу, чтобы не встречаться взглядами. Еще немного—и им предстоит улыбаться. Улыбка обязательна. В улыбке залог их благополучия, их жизни.

В бараке тишина.

Сейчас они еще могут уединиться со страхом, подумать о том, что вот-вот совершится здесь. Сейчас они переживают весь предстоящий им ужас, но еще немного, и им должно стать прямо-таки весело. Немецкие солдаты ведь приходят сюда не для того, чтобы созерцать грустные лица, они приходят, чтобы забавляться, для «развлечения» они приходят! Пить из родника радости они приходят!!!

Прежде всего высокий гость записывает номер девушки. Пусть на всякий случай ее номер лежит у него в кармане. Когда он, уходя, пройдет мимо конторы, он сам решит, что делать с этим номером.

Удар гонга. Два часа. Начало.

В бараке тишина. Пятьдесят кроватей, как пятьдесят кресел, поставленных на площади казни.

С улицы доносятся голоса немцев. Эльза резко отдает последние команды своим подчиненным кальфакторшам. Эльзе очень хочется, чтобы немецкие солдаты взглянули на нее, чтобы они видели, кто и что она тут. И Яага здесь. Обе мечутся, как режиссеры перед поднятием занавеса на генеральной торжественной репетиции. Еще немного — раскроются ворота и ввалятся немцы.

Даниэла смотрит в затылок сидящей перед ней девушки.

Даниэла чувствует, что удары гонга проникают в ее душу вместе с голосами немцев. Те смеются... Головы девушек кружатся перед ее глазами, как колеса электрического трамвая в ночные часы по заснувшим улицам ее горо-

да... Колеса паровозов... Колеса, катящиеся к победе!.. Смеющиеся лица кондукторов трамвая. Вот ее детская комната, а вот она среди девушек, отправляемых в этап из столицы... «Даниш, почему ты уезжаешь от нас?..» «Чтобы привезти тебе подарочек, мой дорогой...» Колеса скрипят от прикосновения к рельсам. Она схватит нож и зарежет немца, когда он навалится на нее.

Барак наполнен немцами. Шум и гам. Бесконечное количество черных сапог. Барак, как кипящий котел. Немецкая речь. Визгливая. Разнузданный смех. Больше нет решеток. Все распахнулись. Нет колес. Голова впереди сидящей девушки опущена на изголовье кровати.

«Часы развлечения».

Около кровати Даниэлы немец вешает свой мундир в шкаф. На соседней кровати девушка встречает своего немца заискивающей улыбкой, смотрит ему в глаза. Она улыбается, но ее улыбка похожа на гримасу боли. Девушка пытается угадать по лицу немца, что принесет ей этот тип сегодня? Таится ли еще за выражением его лица что-нибудь человеческое?.. Она ищет эту искорку, словно утопающая. В его руках ее судьба... Она полностью принадлежит ему. Насытится ли он и уйдет, или еще зайдет в контору и передаст на нее «рекламацию», просто так, чтобы не лишиться себя дополнительного удовольствия?

Уши Даниэлы ничего не слышат. Крики и резкие голоса немцев доходят до нее издалека, как голоса людоедов во время пиршества. Среди общего визга выделяется хриплый тусклый голос немца, нашептывающий ей что-то на ухо. Лицо неандертальца прижимается к ней, облапывает ее, лижет ее. Она слышит его запах. Рот его раскрыт. Зубы, как клыки хищного зверя. Он вонзает свои пальцы в ее тело, как щупальцы рака. Главный врач смотрит в ее клетку. Его глаза смеются. Она лежит, привязанная к стойкам стола. Она не может шевельнуться. Шульце направляет к ней свою длинную палку. Резиновый кружочек палки приближается к зрачку ее глаза. Еще немного, и он выколет ей зрачок. Шульце забавляется. Он в черной эсэсовской каске.

Его лицо выражает озабоченность, он обращается к немцам, стоящим сзади него в ябловском лесу и говорит им: «Наши парни будут довольны ею...» Девушки в клетках, что напротив ее, вышивают, вышивают фантастические рисунки птиц и животных на полотняных скатертях. Даниэла хочет крикнуть, но не может...

На занавесях окон барака небо рисует странные образы: будто перепуганные люди бегут в густом лесу...

С ближайшей кровати встает немец, собирается уйти. Голые руки девушки обнимают его. Губы шепчут: «Господин мой, повелитель, довольны ли вы?..» Немец отталкивает ее от себя, плюет и уходит. Девушка села и ошеломленно глядит ему вслед. Вот он уходит от нее, унося в кармане ее жизнь. Ей видится площадь наказаний и убийств. Она смотрит...

...Это случится ночью, этой ночью! После последнего удара гонга... Это должно случиться,— так решает Даниэла.

Барак убран, все в порядке. Еще немного, и потушат свет. Вот-вот раздастся последний гонг, последний удар. После него все обязаны спать. Это нерушимый закон лагеря. Немцы заботятся о здоровье и благополучии девушек. Они должны быть отдохнувшими и свежими к двухчасовому гонгу следующего дня.

Спать! Но теперь особенно ярко всплывает перед глазами площадь экзекуций. Именно теперь, когда каждая из девушек остается сама с собой. Она начинает думать о возможности «рекламации», переданной каким-нибудь недовольным немцем. Что ждет ее завтра?

Спать! Они обязаны спать...

Как можно заставить ее заснуть, когда в ее сердце так много страшного?

«Это не более, чем игра судьбы»,— думает Даниэла. Тут ведь есть девушки, у которых уже по две «рекламации». Их почему-то зовут «счастливики». Они все еще расхаживают в лагере, они — старожилы. Есть такое лагер-

144

ное поверье, что кое-кто из «счастливиков» даже дождется освобождения. Несмотря на это, они, эти «счастливики», по ночам, лежа в своих постелях, трясутся больше других, не зная, что уготовит им завтрашний день. Они мысленно воспроизводят выражение лица своего немца, стараются вспомнить все сказанное, каждое его движение, каждый его взгляд, когда он уходил от них. Будут ли они жить? Остались ли немцы довольны?

Этой ночью!.. После последнего удара гонга, как только потушат свет, она выйдет в уборную. Оттуда недалеко до дорожки, ведущей к озеру. Вода поглотит ее навсегда. И не будет больше следующего дня с двухчасовым гонгом. Вода очистит ее, потушит горящее в ней пламя...

Между вторым и последним ударом гонга нельзя выходить из бараков. Часовой застрелит ее и получит за это награду — три дня освобождения от службы. Он только скажет, что «кукла» хотела приблизиться к проволочному ограждению... Нет, только не быть застреленной за бараками!.. До рассвета лежала та девушка из восьмого барака, и предсмертные ее стоны всех сводили с ума.

Все, в конечном счете, получают «рекламации». Всех поведут на площадь экзекуций. Ни одна не останется ненаказанной. В последнюю минуту немцы убьют всех, всех до единой, никто даже не узнает, что тут был лагерь. Не сегодня — завтра и ее поведут на «очищение». Но она не будет ждать, куда ее выведут на площадь экзекуций... А вдруг и на этот раз не хватит сил выполнить принятое решение. Неужели она, как и все остальные девушки, дождется дня, когда ее тоже бросят в машину и увезут. Ох, если бы тогда не вмешался Вевке и не увел ее от дверей чердака, она бы купила цианистый калий у буфетчика.

Последние удары гонга проникли в барак через окна и напомнили, что завтра наступит после этой ночи. Девушки ворочались с боку на бок, их черные одеяла подымались над кроватями, как крылья. Внезапно Даниэле показалось, что все шкафы около кроватей открываются, барак наполняется голосами немцев. Становится шумно, переполох.

145

Немцы вешают свои мундиры в раскрытые шкафы. Завтра, в два часа...

...Все происшедшее с ней в гетто записано в ее дневнике. Ну, а завтра. Никто об этом не узнает никогда. Никто не узнает, что происходило в этом лагере. Всех, всех до единой немцы «очистят» на широкой площади экзекуций и казни. Никого это не минет, ни одной... Ночью она выйдет к воде! Если бы она тогда купила таблетки... Феля, наверное, останется в живых. Феля ведь «счастливик». Яга обещала ей, что с окончанием войны она возьмет ее с собой в Дрезден.

Но немцы наверняка убьют и Фелю. Ни одна тут не уцелеет. Эльза бросит Фелю в машину...

— Откуда тебя привезли сюда?..

Голос донесся с ближайшей кровати. Девушка лежала лицом к Даниэле и смотрела на нее.

— Откуда тебя привезли?..

— Из третьего еврейского квартала,— ответила Даниэла.

— А я из первого еврейского квартала. Может, ты случайно знала мою семью? Моя фамилия Шафран. Ципора Шафран. В «первой точке» нас разъединили, и мы потерялись. Не слышала ли ты случайно, остался ли кто из нашей семьи? Мы жили на Площади Свободы, 12.

Всюду одно и то же... Те же вопросы, те же ответы...

— Нет,— ответила Даниэла.— Я никого не знала из твоей семьи. Во время войны я попала туда случайно. А в первом еврейском квартале жил мой брат — Гарри Прелешник.

Девушка сошла с кровати. Приблизилась, взгляделась в лицо.

— Даниш?..

«Даниш»... Кто бы это мог быть?.. Даниэла вглядывается в лицо наклонившейся к ней девушке. Кто она?.. Откуда эта девушка знает ее имя? Где они могли встречаться?

— Да, дома меня звали Даниш...

Ципора Шафран села на край кровати Даниэлы, закрыла руками лицо и молчала.

146

— Кто ты?..— спросила Даниэла.

Ципора, не поднимая глаз, сказала:

— Гарри всегда рассказывал о тебе в нашем доме. Он так гордился своей златокудрой сестрой. Я всегда хотела познакомиться с тобой. Вот мы и встретились... в «Доме кукол»...

Свет погас! Спать!

На дворе полная луна серебрила проволочное ограждение под током высокого напряжения. Ряды шкафов в головах кровати походили на узкие каменные гробы. Ципора сидела на кровати у Даниэлы и рассказывала о себе.

Из гетто ее отправили вместе с братом Марцелем. Она знала, что он сейчас находится в одном из близких лагерей, где-то в окрестностях. Она хотела помочь ему, даже подумывала, чтобы как-то украдкой выйти из лагеря и пойти к брату с буханкой хлеба, но испугалась такой дерзкой мысли. Пойти в мужской лагерь — это все равно, что идти навстречу собственной смерти. Потом Ципора узнала, что Марцеля там уже нет. Возможно, его угнали в другой немецкий лагерь, в центре Германии. «Если Марцель умер от голода, то в этом моя вина. Ведь могла же я помочь ему...»

«Гарри!» — молнией пронеслось в мозгу Даниэлы. Может, в одном из ближайших лагерей находится Гарри и нуждается в помощи? Ее жизнь внезапно заполнилась священной и высокой целью. Теперь она сможет выдержать все невзгоды и лишения жизни. Гарри ждет ее помощи...

— Как можно попасть в ближайшие лагеря, как проходят и выходят оттуда? — спросила Даниэла, задыхаясь от волнения.

— Немцы, назначенные для руководства этими лагерями, требуют, чтобы им время от времени посылали туда девушек из «Дома кукол», так как они не могут часто отлучаться и оставить лагерь без усиленной охраны. Вся окрестность полна трудовыми лагерями для евреев, девушки оттуда возвращаются по большей части с «рекламациями». Бывает, что и вовсе не возвращаются. Обычно туда посы-

147

лают новеньких, из новых этапов. Остерегайся попасть туда.

— Я сама вызовусь,— в запальчивости сказала Даниэла.— Буду искать его! Я ведь своими глазами видела, как немцы ведут себя в трудовых лагерях, какой там царит голод...

Барак походил на узкую сумрачную улочку гетто. Кто-то крикнул с кровати:

— Ципора! Спой что-нибудь, иначе мы с ума сойдем!

Почти каждый вечер Ципора Шафран пела девушкам своим мягким голосом. Она знала много песен на иврите — ее мать преподавала иврит в школе.

Этой ночью Ципоре не пелось. На этот раз песни не были только воспоминаниями и тоской о прошлом, теперь она ощущала дыхание матери на своем лице, как в детские годы.

А с соседних кроватей неслись просьбы:

— Ципора! Спой нам что-нибудь... Очень просим тебя, спой...

Ципора начала тихим голосом:

Над колодезем, что в саду,
У ведра я тихо жду:
По субботам он стучится
У меня воды напиться.
Жарко. Все в глубоком сне:
Листья, мухи на плетне,
Мать, отец... Не спим мы двое:
Я да сердце молодое.

Мелодия расходится, покрывает тонким белым покрывалом узкие шкафы у стен; качается на серебристом от лунного света пространстве.

Над вышкой охраны висит шарообразная луна, словно нимб вокруг головы замученного еврея из Назарета на изоб-

148

ражениях выставляемых в окнах польских жителей, в знак того что тут не проживает еврей...

...Куском хлеба можно будет его спасти... Она сама попросит, чтобы ее послали в ближайший лагерь... полбуханки хлеба она может прихватить с собой...

А ночь вбирает в себя эту печальную песню и уносит над крышами барачных за проволочную ограду.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Когда Феля была доставлена в «Крыло радости», она сразу поняла, что тут ей придется плохо. Феля из местечка Радно не сможет жить рядом с Эльзой из Дюссельдорфа. Какая-то из них должна уступить дорогу другой: или она, или Эльза. Вместе им тут не жить. Но если она собирается дожить до того дня, когда ей представится возможность свести счеты с Эльзой и с бандой из юденрата, ей сейчас нужно согнуть голову и сдерживать свой гнев... Никогда до этого Феля не выказывала такого бурного желания во что бы то ни стало дожить до дня освобождения, до дня своей мести.

Ей нужно срочно принять меры, чтобы избежать соседства с Эльзой, потому что если она будет зависеть от ее милости, не миновать беды. Феля не даст Эльзе растоптать себя, как червяка. А если она не совладеет с собой, не сможет укротить на время свою ненависть к этой, из Дюссельдорфа, то неминуемо навлечет катастрофу не только на себя, но и на всех девушек «Крыла радости». Немцы отомстят ей грозно и страшно. Поэтому она должна спешить, пока еще не превратилась в кусок безвольного мяса, как многие из девушек «Дома кукол».

На следующий день, перед началом «обслуживания» немцев, когда дрожащие девушки сидели на своих кроватях в ожидании, Феля посмотрела в окно на входящих в зону лагеря немцев. Они шли в лагерь через деревянный мост. Вдруг Феля увидела Яагу, начальницу лагеря, расхаживающую под руку с одним из немецких гостей — офицером. И тут же она

149

решила, что получит желаемую помощь от этой высокопоставленной особы.

Когда немцы вошли в их барак, Феля поспешила офицеру навстречу.

Ее прекрасная фигура, стройные, высеченные на диво ноги, два ряда прекрасных белых зубов, очаровательная улыбка и жгучие черные глаза, — все это тут же бросилось ему в глаза.

Офицер схватил ее, не давая пройти мимо. Феля бросила на него жаркий взгляд, и ее красиво очерченный рот выдавил:

— О, разве джентльмен ведет себя так?..

Немец смешался. На секунду он забыл, что находится в «Доме кукол». Здесь он еще не слышал подобных слов. Тут еще никто к нему так не обращался. Инстинктивно он пробормотал:

— Ферцаин зи...*

Начало удачное! Совсем не плохо услышать здесь, в «Доме кукол», как немецкий офицер извиняется перед солдатской шлюхой, еврейкой. Феля взяла его под руку, как настоящая «леди» и повела к своей кровати. Они оба сели на ее край, на секунду глянули друг другу в глаза и оба громко рассмеялись...

Они сидели и приятно беседовали. Через несколько минут немецкий офицер почувствовал, что подобного с ним тут еще не было. Прошло немного времени, и он полностью подпал под обаяние этой прелестной женщины.

— Признаюсь, что я сейчас пришел сюда как все военные, чтобы найти временное удовольствие, но нашел что-то выше этого...

Не плохо! — подумала Феля. — Совсем не плохо! Почувствовав, что барометр достиг нужной отметки, она решила открыть перед ним свои карты. Времени ведь так мало. Время бежит. Выпавшая удача должна быть использована, бла-

* Извините меня (нем.).

150

гоприятный случай нельзя упускать. Она обратилась к нему просто и откровенно:

— А теперь, мой возлюбленный, скажите мне, пожалуйста, желаете ли вы, чтобы мое тело было здесь растоптано, как это обычно бывает со всеми другими тут? Не хотите ли вы, чтобы я хранила себя только для вас, для вас одного?..

Немец раскрыл глаза, как проснувшийся от сна. Он почувствовал себя прижатым к стенке. Вопрос Фели внезапно вернул его к действительности.

— Я совсем забыл об этом... — бормотал он в замешательстве.

— Вы, наверное, вообразили, что сидите и предаетесь любви в аллеях Унтер-ден-Линден в Берлине? — спросила Феля ядовито.

— Этот лагерь находится под надзором гестапо, — размышлял он вслух. — Тут ничем нельзя помочь... Однако... Я могу посодействовать, чтобы вас назначили кальфакторшей, и тогда вам не придется участвовать в «радостных услугах».

Феля отрицательно покачала головой: ни за какие блага в мире она не согласится стать кальфакторшей под началом Эльзы, и истязать девушек. Нет, она, Феля, предпочитает сама умереть, чем убивать других. Кроме того, по существующим здесь, в лагере, правилам, красивые девушки не могут быть зачислены в кальфакторши. Объяснив ему это, она кокетливо изогнула свою фигуру и сказала:

— Вы ведь, конечно, не полагаете, что мое тело соответствует роли кальфакторши в «Доме кукол»...

Немец рассмеялся. Он с вождением смотрел на ее тело. Мозг Фели работал четко. Феля хорошо знает, что время бежит, уходит, что нельзя его упустить. Она продолжала его подстегивать:

— Итак, ваш ответ на мой вопрос?

— Я растерян. Честное слово... — ответил немец озабоченно.

— Раз так, сделайте то, что все остальные! Ведь для

151

этого вы и пришли!.. Завтра на этом месте будет сидеть другой.

Немец был в смущении. Он даже не мог себе представить, в какое запутанное положение он попадет. Он не стал размышлять, зачем ему все это. Почему бы ему не поступить с ней, как с любой другой в этом случае и смыться отсюда, но что-то удерживало его.

— Я готов помочь тебе, если ты подскажешь мне как... — сказал он.

Честно говоря, это было все, что Феля хотела услышать от него. Она набралась смелости и спросила его:

— Может быть, кому-нибудь из немцев здесь нужна экономка или домработница?

Немец внезапно стукнул себя по лбу, выпалил «идиот» и поспешно вышел из барака.

Феля следила за ним через окно. Он шел прямо к дому начальницы лагеря. Феля размышляла: вот, полпути я прошла как будто бы благополучно. Теперь я должна пройти удачно и вторую половину. Хотя Феля почти никогда не обращалась к богу, так как у нее были с ним свои счеты еще с далекого детства, сейчас она сложила ладони как при молитве, а губы шептали:

— Помоги мне, господи! Я обещаю тебе, что если только ты поможешь мне, после войны я буду честной еврейской женщиной. Помоги мне, боже, выбраться из лагеря. Я многим должна отомстить. Но помоги мне только выбраться отсюда. Если ты не хочешь помочь мне, я прошу тебя, боже, услышь мою просьбу, боже милосердный и всепрощающий, не мешай мне, не вмешивайся! Оставь меня одну, дай мне довести до конца задуманное мною.

В окно она увидела, как начальница лагеря вышла из своего дома под руку с немецким офицером. Он говорил с ней энергично и настойчиво. Видно было, что он старается убедить ее. Они теперь идут по направлению к бараку.

Яага глядела на нее. Глаза немца выражали удовлетворение. По всей вероятности, она понравилась Яаге, так как та велела ей тут же следовать за ней.

Бог внял молитве Фели. Она была принята в качестве служанки в дом начальницы лагеря.

Когда Яага вольт в себя несколько стаканов спирта, она начинает изливать душу перед Фелей, как перед близкой подругой. Феля уже не раз слышала все интимные подробности жизни: о ее любовнике, начальнике ближайшего лагеря в Нидервальдене, изменяющем ей; о ее юношеских годах, проведенных в бардаке в Дрездене. Пьяная, она всегда жалеет Фелю. Если бы Феля не была еврейкой, то, несомненно, получила бы пост начальницы немецкого концентрационного лагеря. Яага бы постаралась использовать все свое влияние. Феля ведь, в сущности, ее единственная верная подруга на свете.

Каждый день рано, на рассвете, Феля забегала в пятый барак к Даниэле помогать ей «строить» свою постель. Пара проворных рук в этом тяжком деле — божья помощь...

Феля превратилась в ангела-искупителя пятого барака...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Что-то должно случиться сегодня утром. В Даниэле все было напряжено до предела. Она это чувствовала, как чувствуют в гетто приближение «акций». Что-то произойдет сегодня. Это утро явно несет беду.

С тех пор, как Даниэла получила от Фели в подарок карандаш и бумагу, она поднимается на рассвете и пишет.

Возня на улице за бараками очень подозрительна. Она вызывает страх. Ципора борется во сне с каким-то кошмаром. Лицо искривлено, шея натянута, она стонет, будто ее душат во сне. Может, надо разбудить ее?

С тех пор, как они познакомились, Ципора переменялась. Все говорят, будто Ципора сошла с ума. Тут это случалось не раз, и не с одной. Девушки опасаются, В последние дни Ципора ходит по бараку сама не своя: словно законы «Дома кукол» уже не для нее. Она получила две «рекламации» подряд и с тех пор блуждает по бараку, как тень,

153

равнодушная и молчаливая. «Я убила Марцеля...», — только эти слова она произносит часто.

Что-то происходит за стенами барака. Оттуда слышится голос Эльзы. Кальфакторши мечутся по баракам. Да, действительно, это утро какое-то необычное, оно несет страх.

Девушки еще спят. Кажется, нет такой силы, которая может их разбудить. Но как только ударит первый гонг, все они до единой вскочат с кроватей — стелить постели. Так каждое утро.

Возня за баракком усиливается. Что там готовят? Феля раскрыла ей секрет: возможно, этот лагерь придвинут поближе к позициям... Феля все знает. Можно верить тому, что она говорит. Яага, наверное, не сдержалась и проболталась ей каким-то образом. Нет! На сей раз она уже не будет дожидаться, пока ее переведут в другое место. Она покончит с собой. Все равно Гарри ей не удастся повидать. Все ее мучения ни к чему.

Двери барака раскрылись настежь. Первой вошла Эльза, кнут в одной руке, в другой список. Кальфакторши рыскали глазами по номерам, вывешенным в ногах кроватей. Свою работу они делали поспешно, без единого звука. Вихрем они пронеслись от одной кровати к другой и подошли к кровати Даниэлы. Она быстро зажала обеими руками тетрадь и карандаш. Она тут же поняла, что пришли за ее душой. Ее, именно ее, теперь ищут. В этом нет никакого сомнения. Она избрана как жертва. На этот раз все глаза за колючей проволокой будут смотреть только на нее. В сжатых руках она держит тетрадь и карандаш. Она уже не успеет спрятать их. Кальфакторши смотрят на номер ее кровати. Кальфакторши уже около нее. Она готова... Почему она так спокойна? Она молчит... Глаза закрыты. Смерть... вот она...

Кальфакторши срывают с Ципоры одеяло, тянут ее за волосы. Ципора не сопротивляется, она дает им делать с ней все, что они хотят. Она не издает ни единого звука. Как замороженная. Эльза стоит, руки скрещены на груди, смотрит прямо на встающих с кроватей девушек. Ципора молчит, и Эльза молчит. Обе смотрят молча — одна в глаза

154

другой. Но кажется, что они говорят на ужасном, никому неведомом языке.

Даниэла лежит без движения. Противоположная стена нагибается вместе со шкафами. Еще немного — и все упадет на нее.

Ципора так и не произнесла ни единого звука. Девушки мечутся, обращаются друг к дружке. Видно, как шевелятся их губы, но до Даниэлы не доходит ни единого звука. Она продолжает лежать на спине, руки сжимают карандаш и бумагу. Ципору увели из барака, но до сих пор еще не было первого удара гонга... Что-то ужасное все же должно приключиться этим утром. Ципора не кричала. Все совершается здесь быстро, в ужасающей тишине....

Все смотрят на пустую кровать Ципоры.

— Эльза была в бараке!..

— Когда это случилось?..

— Кто видел?..

— Что сказала Эльза?..

Почему взяли Ципору? Ведь пришли взять ее. Если бы нашли у нее тетрадь! А может, еще придут?.. Так или иначе, ей надоело жить. А если так, чего еще бояться?

Первый удар гонга сотряс стены барака.

Десять стульев выставлено на пустой площади экзекуции.

Напротив толпятся согнанные лагерницы из «Рабочего крыла». Кальфакторши бьют их, сгоняя в тесную кучу. Вот они смотрят!.. Десять стульев установлены в центре площади, они пока пусты, они смотрят в небо!.. Кальфакторши требуют, чтобы лагерницы смотрели на стулья, и заставляют громко пересчитывать их: один... два... три... Требуют считать громко. При этом на головы девушек обрушиваются удары.

Через ворота въехала машина, развернулась и направилась к площади казни. Шофер высунулся из кабины и смотрит, как удобнее поставить машину, чтобы она пришлась

155

ближе к месту погрузки изуродованных тел. Шофер выпрыгнул из кабины, обошел машину вокруг, тщательно осмотрел ее,— машина подана точь-в-точь, так, чтобы грузчикам не делать лишних движений. Он раскрыл задние дверцы, они пришлись точно против стульев. Шофер сдвинул эсэсовскую фуражку на затылок, взял сигарету, заложенную за ухо, и закурил,



прислонившись к боку машины. Заложив ногу на ногу, он крепко затянулся дымом, громко зевнул и стал равнодушно смотреть вокруг.

«Во время «очищения» увидишь, как они упитаны... Меня зовут Рена Зайднер, Рена Зайднер... Они жрут наш хлеб, наш маргарин!.. Они пожирают нас живьем!..» Глаза Рены Зайднер не перестают глядеть на площадь с отвращением и враждой. Даниэла тоже обманула ее. Она оставила ее и ушла в «Дом кукол». Теперь, когда над Даниэлой занесен меч, когда она чувствует себя одинокой, всеми оставленной, никто не пожалеет ее. Пусть страдает! На каждую из «Дома кукол» обрушится карающая рука, каждая должна испить свою чашу. И мы, несчастные мозельманки из «Рабочего крыла», будем смотреть через проволочное ограждение и увидим, как очищают их тела, их упитанные тела, разжиревшие на нашем хлебе!

Даниэла больше не в состоянии была смотреть на противоположную сторону лагеря. Она отвернулась.

Здесь, на этой стороне, стояли девушки, одетые в лагерные чистые передники с нашитыми на них номерами; по ту сторону проволоки столпились существа, уже лишенные человеческого

облика — серая толпа, прикрытая тряпьем. Огромный лоскут, гнилой, зловонный, будто повисший на заграждении. И вот к площади приближается процессия.

Во главе Эльза. За ней — голые девушки. Они идут в затылок друг другу гусиным шагом.

Справа от каждой девушки шагают кальфакторши. Лица их праздничны. Издали видится рассеченная щека Эльзы. Сапоги блестят на ее ногах, словно в воскресный день. Вдоль бедра спускается плетеный кнут.

157

Первой шла Цвия из Тщевина. Она шла так, будто ей неизвестно о том, что ее ждет. В «Доме кукол» к ней не пристала грязь. Ее маленькое, измученное тело сохранило чистоту и прозрачность. Наивное упорство, детское и светлое, защитило ее и укрыло, как жесткая, твердая скорлупа защищает ядро ореха. Теперь скорлупа будет растоптана вместе с ядром.

Около стульев встала Эльза. Ее руки скрещены на груди. Стволы ружей высунулись на вышках. Крыши розовых барачков как бы застыли. Все должны видеть, как очищают провинившихся обитательниц «Дома кукол».

Ципора уже возле стула. В ее лице незаметно никаких изменений. У остальных такие же лица.

Последний удар гонга будто обрушился с неба.

Ночью на постель Ципоры ляжет другая девушка. По всей вероятности, девушка из «группы цветов». Неужели Ципора не видит, как смерть вьется вокруг ее голого тела? Неужели Ципора ничего уже не чувствует?

К отведенному месту казни подходят немцы. Они шагают степенно, ощущая собственное величие. Они привели с собой смерть.

Кальфакторши привязывают девушек к ножкам стульев — руки к передним, ноги — к задним ножкам. Эльза ударила одну из кальфакторш по спине — это знак начала ритуала «очищения». Десять палок поднялись одновременно и опустились в едином темпе на голые тела девушек.

Тишина прорвалась, как лопнувший бумажный кулек. Кричали глаза, кричало небо, кричали крыши барачков. Страх ревел на просторе площади. Свершилось.

Немцы поворачиваются и оставляют площадь, как гости, хорошо насытившиеся и получившие большое удовольствие на пышном банкете.

Девушки брошены в машину, которая развернулась и помчалась вперед, оставив за собой шлейф из перегара бензина и масла. В конце шоссе он завернул за угол, и за-

158

ехал в «Рабочее крыло», чтобы заодно прихватить трупы девушек, которых Хентшель послал на небо помогать строить автостраду.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Очередь вытянулась до середины барака. Девушки стояли одна за другой, ожидая осмотра. Все девушки «Дома кукол» проходили медицинское обследование раз в неделю. Каждый барак в свой назначенный день.

Сегодня была очередь пятого барака.

Барак «Ка-бэ», где девушки проходят обследование, стоит в углу лагеря, позади уборных. Напротив этого барака — озеро; через него перекинут висячий мост, на котором всегда находится охранник «СС». В принципе этот барак предназначен для госпитализации лагерниц. Но в лагере еще никто не болел, за исключением заразившихся. Как только словацкая врачиха установит, что девушка заражена, ее номер заносится в особый список, и ее отводят во вторую, закрытую половину «Ка-бэ» и вместе с другими зараженными отправляют в «больницу»; оттуда они никогда не возвращаются.

Девушки пятого барака стоят смиренно, одна за другой, голые. У окна, у маленького белого столика, сидит врачиха; перед ней лист бумаги, куда она заносит номера заразившихся девушек. Врач смотрит в окуляр черного микроскопа. Стоящая у столика смотрит на кусочек стекла под микроскопом. Под ним уместилась сейчас вся ее жизнь. Еще минута — и врач поднимет глаза от микроскопа... Скажет она подойти следующей в очереди или взглянется в выжженный на груди номер и запишет его карандашом в свой лист?

Во дворе работают девушки из отряда цветочниц.

В красных платочках на головах они сидят у грядок, подрезая цветы. Грядки должны быть прямые, по линейке, в полном соответствии с принятым здесь порядком.

Эти девушки-цветочницы, наверное, останутся здесь по-

159

следними. Возможно, они доживут до минуты освобождения. Что будет с цветочницами, когда их переведут в другой лагерь? Теперь им улыбается судьба, они живут дольше остальных, но как только освобождается кровать в одном из розовых барачков, тут же берут «цветочницу».

Очередь двигалась, приближаясь к столику врача. Обследованные выбегают из барака; в руках у них лагерный передник — они довольны.

Феля наставляла Даниэлу, как следует вести себя во время «забав», как остерегаться во время обследования. Она сама должна предложить немцу свое тело, и тогда он не вздумает написать о ней «рекламацию». Но Даниэла никогда не сможет вести себя так, как Феля. Феля слеплена из другого материала. Феля — счастливый человек. У нее сильный характер, она собранная, бесстрашная. Даниэла совсем не такая — она слабая и нерешительная. Что делать? Некому помочь ей. Такой уж она родилась. Даже рассказ Фели о немецком офицере не доходит до ее понимания. У нее не укладывается в голове, что можно так разговаривать с немцем. Ни одна из девушек не набралась бы храбрости и не посмела бы так поступить. Нет! Ни под каким видом, ни при каких обстоятельствах она не посмеет так поступить. Да, Феля действительно счастливый человек.

С моста часовой нагибается и кидает крошки хлеба двум белоснежным лебедям, плавающим по озеру... Очередь двигается к столу. Оголенные руки девушек походят на длинные шеи белоснежных лебедей... «Ученики и ученицы с наступлением каникул в школе гуляют в парке, поднимаются на деревянный мост над озером и бросают куски хлеба плавающей на озере белоснежной лебеди...»

Кальфакторши подводят новенькую к столу врача. В окне отражаются гордые лебеди...

Даниэла должна приготовиться. Стриженная голова врача наклонена над микроскопом. Выбранный затылок красноват и нагоняет жуткий страх.

Вот голова врача поднимается над микроскопом. Движение пальцем — девушка уходит. Теперь уже ничто не от-

160

деляет Даниэлу от стола. Врачиха уставилась на нее. Неужели узнала? О, боже... кажется рот врачихи напоминает рот рыбы. Углы рта опущены глубоко. На что она так смотрит?.. Она ее, наверно, узнала! Еще минута, и она прикажет увезти ее в закрытую часть барака. Может быть, зараженные все-таки продолжают жить в больнице. Что задумал этот рыбий рот? Почему она так уставилась на нее? Что она увидела на ее теле?..

Полукруг верхней губы поднимается в медленной улыбке.

— Какой чудесный цвет тела! Точно как мундир эсэсовца!.. Какие глаза!.. Какой изгиб тела!.. Подойди сюда, шлюха, я осмотрю тебя!

Не узнала! Только бы не узнала ее... Храни меня, боже!.. Феля ее наставляла, как не заразиться. Что же там, на прозрачном стеклышке?.. Стриженная голова смотрит в микроскоп одним глазом. Даниэле видно только пустое стеклышко. Что там, в той половине барака? Запомнит ли Феля, что надо вынуть из кровати ее дневник и медальон? Может быть, Феле после войны удастся отдать их ее родителям... Кальфакторши хватают за локти стоящую сзади девушку. Как только врач поднимет голову от микроскопа, ее подтолкнут сюда. Вот он, мост!.. Она уже раз видела его, тот мост. Куда исчезли лебеди?.. Поверхность озера пуста. Голова приподнимается. Только бы не узнала ее!.. Храни меня, боже!

Врач двинула рукой:

— Убирайся!

Она здорова!.. Свободна!.. Внутри ее что-то поет от счастья.

Как только Даниэла вышла из барака «Ка-бэ», она наткнулась на поджидавшую ее Фелю. Феля выглядела очень озабоченной. Не в обычае Фели слоняться среди бела дня. Первая мысль, мелькнувшая в сознании, была: не потеряла ли Феля, не дай бог, свою «функцию»?..

161

— Ты разве сейчас свободна от своих занятий, Феля?— спросила Даниэла озабоченно.

— Пошли! Мне нужно быстро вернуться к себе. Проводи меня до ворот.

Даниэла вздохнула свободнее.

После барака ей показался лагерь несколько иным. Ей бросилось в глаза небо над лагерем, высокое, бесконечное. Из восьмого барака выбежали девушки с посудой. Около седьмого барака девушки выбивали одеяла. Две девушки держат за оба конца одеяло и выбивают его.

Девушки восьмого барака побежали к озеру. Лучи солнца преломлялись на их телах. На секунду ей показалось, что все это происходит на даче.

- Завтра посылают часть девушек в рабочий лагерь в Нидервальден, — рассказала ей Феля. — Я колебалась — рассказывать тебе об этом или нет. Не решалась говорить тебе, куда мне не стало известно, что Яга сама едет туда, к своему возлюбленному, начальнику лагеря. Если ты непременно хочешь поехать туда, я пойду на риск и уговорю ее включить тебя в списки, на тот случай, если на тебя будет «рекламация». Но задумала ты рискованное дело.

Даниэла прижалась к Феле. Лагерный передник у нее не был застегнут, шнурки ботинок не завязаны. Она еще не успела привести себя в порядок после медицинского осмотра.

— Я не простила бы тебе, Феля, если б ты не рассказала мне об этом.

— «Простила», «простила»! Это сумасшествие, я говорю тебе, Даниэла. Если бы не то, что туда едет Яга, я не позволила бы тебе ехать, даже если бы знала, что наш лагерь будет ликвидирован через день-другой. Надо ведь знать, как издеваются в этих лагерях над приезжающими туда девушками из «Дома кукол».

За оградой цветочницы поливали из шлангов грядки вокруг «научного института». Цветочницам запрещалось входить за ограду. Уход за цветами во дворе института входил в обязанности «сестер», ведущих уход за «опытными» объектами исследования. Здание института не видно из-за

162

ограды, оно построено в глубине аллеи и все утопает среди деревьев и цветов.

— Надо достать полбуханки хлеба. В течение недели я смогу сэкономить и вернуть его, — сказала Даниэла.

— У «еврейского старшины» или у кого-нибудь другого сможешь узнать подробности. Ведь они в дневные часы находятся в лагере. Я, со своей стороны, подготовлю Ягу. Возможно, что в минуты своей сумасшедшей страсти она даже поможет тебе. Я постараюсь подготовить ее весьма осторожно. Однако, Даниэла, ты помни, что это игра со смертью! Ты не знаешь, что значит иметь дело с немцами. Тебе не следует надеяться.

— Мне нечего терять, — ответила Даниэла глухо.

— Ты только не преувеличивай свои возможности! Ты здесь единственная! Если ты разумно будешь себя беречь в «часы утешения», если ты сумеешь избежать стычек с Эльзой, то мы с тобой еще поедем в свой город — в Конгрессию. Увидишь, как мы устроим свою жизнь после войны.

Феля повернула к воротам внутреннего лагеря:

— Перед последним ударом гонга я приду к тебе в барак.

Даниэла села на вымощенный камнем участок и стала приводить в порядок свои ботинки. «Только бы не думать о завтрашнем дне! — убеждала она себя. — Только бы не думать об этом...»

Чернела проезжая дорога между рядами розовых бараков. Именно с этого места она смотрела на лагерь в первый день. Теперь она знает, что это за лагерь и что в нем происходит. Все это вросло в ее жизнь навечно. Ей все знакомо здесь, до мельчайших подробностей. Она даже знает цвет изменчивой поверхности озера. Сейчас в ней будто все переменялось. Все ей кажется чужим и новым.

На этом месте она уже сидела. Почему же она не узнает его? Оно ведь живет в ее памяти с той самой минуты, когда она увидела его. Вот широкая площадь справа. Тогда она тоже видела ее. Эта широкая площадь ей хорошо знакома

163

— площадь экзекуций и убийств. Почему же она не узнает ее сейчас?

Все в ней раздвоилось. Она смотрит вокруг себя и не может сообразить, где сейчас находится.

Из кухонного барака вынесли полные котлы со сваренным супом. Пар тонкой струей идет вверх. Скоро эти котлы понесут по баракам. Обеденное время. Она встала. Справа — «Рабочее крыло». Там Хентшель продолжает расширять лагерь. Он, наверное, и тут руководил работами. Здесь, на этом месте, где она сейчас стоит, девушки переносили на себе тяжелые железнодорожные рельсы с места на место. Сколько тысяч девушек увезла отсюда черная машина, пока вымостили

этот кусок лагеря? Сколько мозельманок сожгли живьем, пока выстроили здесь эти розовые бараки? Сколько пролито крови мучениц, пока здесь вырос красный цветок, один единственный?

Она направилась к себе в барак.

По пути она опять взглянула на «Рабочее крыло» лагеря. «В небе строят автостраду. Войди туда, милая, войди в машину и тебя повезут на это строительство. Только не забудь сообщить там, что уроки по строительству дорог ты получила у известного дорожного мастера Хентшеля, Фрица Хентшеля...» — так шутит Хентшель. Завтра Даниэле надо заявить, что по своему желанию она хочет поехать к немцам в Нидервальден. Внезапно ей стало так тоскливо, как не бывало никогда до сих пор.

По горизонту растянулся шлейф белого облака, задевая своим хвостом полосы грядок с красными цветами. «На тебя, Даниэла, нельзя надеяться. Ты не умеешь вести себя с этими немцами...» Но где она достанет полбуханки хлеба?

Она шла по дороге в свой барак.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

— Эй, санитар, подойди сюда! Грузи это говно!.. — приказал ему эсэсовец.

Машина остановилась у ворот покойницкой. Когда Гар-

164

ри услышал шум машины, он не смог удержаться и побежал из больничной комнаты к мертвецкой посмотреть; ему хотелось хоть глазами проводить в последний путь прах Занвила Люблинера. Ему казалось, что если он так не поступит, Занвил обидится.

Машина была крыта черным брезентом. В глубине ее лежала куча скелетов. Куча была собрана и аккуратно уложена — чувствовалась рука специалиста. Большая часть машины была пуста. Много еще «говна» примет сегодня эта машина из других лагерей, поэтому надо грузить обдуманно, расчетливо, чтобы использовать всю площадь кузова.

Скелеты лежали голые. Смешались руки и ноги, нельзя было различить — мужчины это или женщины. Кости... человеческие кости без числа. Даже головы выглядят удлинненными костями.

Эти тела Гарри хорошо знает. Когда они умерли, какой смертью. Еще вчера и позавчера некоторые из них приходили к нему в больничную комнату. Он даже помнит их голоса. Помнит их раны и синяки от избиений.

Образ смерти всюду одинаков. Мы хотим найти в чертах лица мертвеца следы прожитой им жизни; не смерть, глядящая с лица трупа, нас пугает, а страшна нам прожитая им жизнь. Мы ищем эту жизнь, представляем ее себе в нашем воображении, хочется увидеть ее, хотя и страшно проникнуть в эти тайны, в жизнь, так нелепо ушедшую.

Странно. Даже в переплетенной куче костей мозельман мы ищем следы прожитой ими жизни. Мозельмане? В каких бараках они дышали? Какое небо было над их головами?

«Грузи это говно!..»

Внезапно все трупы стали для Гарри одинаковыми. Ему очень хотелось увидеть Занвила Люблинера. но он теперь хватает любого, подвернувшегося под руку. Когда эсэсовец вернется, все должно быть погружено в машину. Пини, сын рыжего Ице-Меира, в живых был значительно легче, чем теперь. Почему на нем оставили штаны? Босые ноги Пини волокутся по земле. Какие длинные ноги! Никогда нельзя было предполагать, что ноги у него такие длинные. Да, ведь

165

сзади штаны совсем разорваны. Ничего странного в том, что их оставили, нет.

«Такие ученики, как Пини, гордость и красота ешибота города Люблина», — сказал о нем раввин Шапиро.

Пини и в самом деле был молодым человеком с выдающимися способностями.

Теперь его ноги тянутся по песку площади, будто он упорно сопротивляется, не желает ложиться в машину.

В лагере происходят невероятные явления: слабые, изможденные выдерживают куда дольше, чем сильные и физически развитые. Ице-Меир, пятидесятилетний, похожий на высохший тонкий ствол, еще в приличном состоянии, а Пини умер как мозельман. Его отец, спотыкающийся на каждом шагу, выходит каждый день на каторжную работу. В чем сила такого еврея? Он всегда собран, сосредоточен, словно покрыт железным панцирем-броней, и молчит. Но его глаза, еще не заизвестковались. А глаза — это главное. В глазах отражается все: от первых признаков

мозельманства до самого трагического конца. А глаза Ице-Меира? Сила в их постоянном блеске.

В первый день смерти Пини Ице-Меир отказался держать по нему «кадиш». Он все утверждал, что Пини жив. Ночью Ице-Меир прокрался в мертвецкую и всю ночь, до рассвета, просидел над сыном. На рассвете перед выходом в «бауштеле», он всполошил десяток евреев, составил «миньян» и произнес по сыну «кадиш».

Что чувствовал этот рыжий Ице-Меир в течение всей ночи, когда он сидел над трупом своего сына? Во время произнесения зауспокойной молитвы раздался удар гонга. Все лагерники побежали на площадь проверки, но люди, что молились вместе с Ице-Меиром, остались. Они дрожали и сдерживали дыхание, но побежали на проверку, только дождавшись последних слов молитвы.

Пот струится с лица Гарри. Он чувствует, что силы оставляют его. С трудом он впихнул верхнюю часть тела Пини в кузов и сам полез в машину, чтобы втащить Пини целиком. Пини выглядит иным, чем все остальные трупы и скеле-

166

ты в машине. И не только он — все трупы из мертвецкой этого лагеря выглядят иначе, чем сваленные в кузов трупы из других лагерей. А те, которые еще сегодня будут свалены в этот же кузов в других лагерях, по всей вероятности, будут не похожи на трупы из лагеря Гарри. Мертвецы каждого лагеря будут выглядеть как представители отдельной расы, как образцы с разных планет.

Шофер-эсэсовец вернулся, заглянул в кузов своим опытным глазом, стал соображать. Он оставил Гарри у трупов, лежавших около машины, залез в кузов, стянул труп Пини к основанию кучи скелетов и спрыгнул на землю.

Всех до единого тянет Гарри из мертвецкой. Только Занвила Люблинера он обходит, ему кажется, что если он и его бросит в автомобиль, то убьет его своими руками. В последнее время Занвил перестал заходить к нему в больничную комнату. Встретив как-то Гарри, он сказал ему:

— Прелешник, помощь, что вы мне оказываете каждый день, ни к чему. Так или иначе, я ведь долго не протяну. Лучше бы вы отдали эту пищу людям моложе меня. Об одном прошу вас: когда вы выйдете отсюда, сделайте для меня одолжение, зайдите к моей жене, к детям и скажите им, что я попал в аварию и был убит под паровозом во время работы. Я не хочу, чтобы они знали, как я здесь подох...

В мастерских Швехера Занвил был самым высококвалифицированным портным. Все были им довольны, все считались с ним. У него были сильные, мускулистые руки, стройное тело и еврейские теплые, ласковые глаза. Все горе гетто отражалось в его глазах. Он мог закончить петли на ста семидесяти мундирах для «Люфтваффе»* за полсмены, но он обычно кончал свою норму последним. Если еще кто-нибудь из портных обливался потом у своей машины, Занвил никогда не вставал со своего рабочего места. Подек, заведующий мастерскими, зорко смотрел, где находится Занвил, как у него выполняется норма. Если Занвил еще не закончил, значит ее нельзя увеличить. Кому только Занвил Люб-

* Военно-воздушные силы.

167

линер не помогал в работе? Скольких евреев он спас таким образом от Подека! Кто, как не он, подбадривал и утешал этих пришибленных горем людей? Как только Подек, бывало, удалится из цеха, тут же звучал голос Занвила, перекрывая жужжание швейных машин:

— Евреи! Шейте для них «тахрихим»!..* Мы их еще выпроводим на кладбище, чтобы их земля проглотила!..

Теперь он валяется на полу в мертвецкой. Такой маленький, такой худой. В последние дни он ходил на работу босиком. Если бы Гарри отдал ему свои ботинки, возможно, он еще жил бы теперь. Как только лагерник лишается обуви, он сразу превращается в мозельмана. Если обувь есть — душа еще живет и поддерживает тело. Но Гарри не мог этого сделать — начальник лагеря пришел бы в ярость, если бы увидел, что его «врач» расхаживает босиком по лагерю. Без сомнения, Занвил Люблинер жил бы еще, будь он обут, а если бы дали хотя бы один день полежать на нарах, это спасло бы многих.

— Как дела, санитар?

Морда эсэсовского шофера красная, глаза мутные от выпитого спирта. Черная фуражка сдвинута на затылок. Заглянув в кузов, он закричал:

— Какое свинство!.. Это же куча мусора, это же беспорядок!

Он хватал тела из мертвецкой и кидал их одно на другое. Брюки Пини мелькнули перед глазами Гарри, и через минуту его тело было закидано другими мертвецами.

Шофер выпрыгнул из машины, поднял спущенный задний борт и сильным движением захлопнул его. Работа была завершена.

— Еще один труп остался в мертвецкой... — сказал Гарри. Из глаз брызнули искры. Гарри перевернулся несколько раз. Он не смог встать от удара, полученного в лицо.

— Чумовая язва!.. — бурчал немец. — Чумовая язва!..

Шофер ринулся в мертвецкую, схватил мертвеца за ногу

* Саван.

168

и поволол его к машине. Голова Занвила волочилась по земле около ног немца, как голова подбитой птицы. «Я не хочу, чтобы моя жена и дети знали, что я тут подох...»

Немец поднял Занвила Люблинера, кинул его вглубь кузова, сильно стукнул задним бортом и закрыл машину. Сел за руль, включил зажигание. Мотор заурчал, и машина выехала за ворота лагеря.

Гарри с трудом встал с земли, и поплелся к дверям своего барака.

В бараке непроглядная темнота. Трехъярусные нары барака были заполнены до самого верха. Они казались нагромождением плотно уложенных костей. Лицо Гарри горело. Он никак не мог определить, какое же ухо у него оглохло. Другим ухом он слышал за стеной ржанье и крики пьяных немцев.

В больничной комнате на столе выстроились в три ровных ряда пустые бутылки из-под лекарств, одна около другой, немые и равнодушные. Он больше не мог вынести этот жуткий порядок. Он душил его.

Из-за застекленного медицинского шкафа на него уставилась его хлебная пайка—целая, нетронутая. Гарри не ощущал голода и равнодушно посмотрел на хлеб. Он бы не огорчился, если б ее украли. Не почувствовал бы досады. Голод он утолит другой пайкой. Что он теперь будет делать со второй пайкой? Он рванулся со стула. Последняя мысль пронзила его мозг: две пайки хлеба?.. Здесь у него еще не было двух паек хлеба. Иногда под мышками, у мозельман находят две порции хлеба... Он весь задрожал. Тело его затряслось. Две порции хлеба!..

«Раньше всего, остерегайтесь превратиться в духовных мозельман. Крепитесь и мужайтесь. Берегитесь разочарования! Не поддавайтесь судьбе! Не преклоняйте колени! Не позволяйте себе упасть духом! Тело устоит, выдержит, и вы не превратитесь в мозельман...» — это те наставления, которые он проповедует ежедневно своим лагерникам. Он, проводящий свои дни в больничной комнате, бездельничающий, не подвергающийся избиениям; он, получающий двойную

169

порцию супа в день — такому не трудно проповедовать: «Не падайте духом, не отчаивайтесь»... А разве сам он не может превратиться в духовного мозельмана?

Дверь в больничную комнату распахнута. Голова у него кружилась. Ему казалось, что он плавает в серых волнах. Силы оставляют его, а берег уходит все дальше и дальше. Кто придет ему на помощь?.. Он погружается... берег уплывает, тает в сером облаке.

С кровати на него глядело белое пятно простыни. Пятно порхало по всей комнате, сворачивалось, расплывалось, распускалось по темным углам. Он больше не мог выдержать. Он нащупал дорогу к двери.

День проникал в открытую дверь барака, как в сумрак закрытого автомобиля. Здесь, в узком проходе среди трехъярусных нар, еще достаточно места для мозельманов.

Вот на этом месте еще сегодня утром стоял Ице-Меир, рыжий, окруженный «миньяном» и впервые произнес молитву «кадиш» по Пине. Почему Гарри не ощущает отсутствия Занвила Люблинера? Одного за другим выносят отсюда его знакомых, старых и новых; давних и вновь приобретенных друзей... Они никогда не возвращаются сюда. Они исчезают внезапно, и ты больше никогда не увидишь их. Они стираются из памяти, как стирается написанное на грифельной доске.

Занвила, его учителя, его наставника в мастерских Швехера, который не раз и не два обучал его всяким портновским премудростям, да так, чтобы заведующий-немец не обиделся и не подумал, будто его игнорируют, этого Занвила уже нет в живых. И он, Гарри, даже не может выразить ему благодарность за все то, что тот сделал для него.

Барак едет, как черный закрытый автомобиль ээсовца. Всех увезут отсюда. Его, Гарри, уже

везут вместе с ними. Куда? Вот его подняли и бросили в темноту автомобиля, на кучи нар. Кости. Кости. Куда везут все это? Сколько еще раз повезут их вот так? Куда ушел черный автомобиль? Неужели это его последняя дорога? При переводах в гетто в разные «точки сбора» он обычно думал: это уже последний

170

раз!.. Куда его повезут сейчас? Сколько еще будет таких «последних раз?»

А может, он, Гарри, тоже давно умер и расхаживает здесь, как мозельман среди мозельманов? Вечером, когда лагерники вернутся из «бауштеле», дневальные поволокут его в мертвецкую. Шпиц съест его пайку хлеба, лежащую в застекленном шкафу для лекарств. Жаль пайки хлеба! Лучше, чтобы она попала архитектору Вайсблему. Кто же сможет ему сказать, чтобы он взял ее оттуда? Если он скажет об этом дневальным, когда они его понесут, они возьмут ее себе и сожрут сами. Его они уже не будут бояться, все равно его несут в мертвецкую. Эти дневальные — жуткие пройдохи. Когда он был живым, они лебезили перед ним, предлагали свои услуги. О, если бы улегся этот шум в голове? Выходит, что все, приближаясь к мозельманству, начинают чувствовать глухой шум в ушах, поэтому и не слышат, когда к ним обращаются, а только смотрят непонимающими глазами.

Дверь от кухни открылась... Блондинка-немка приближается, качается перед его взором. Ее глаза смотрят на него неотрывно. Она пьяной походкой шла к нему. Точно также шел на него перед этим эсэсовский шофер. Гарри стоял, как вкопанный, и взирал на нее пустыми, ничего не выражающими глазами.

Она обняла его, упала к его ногам и протянула к нему голые руки. Она гладила полу его белого халата:

— О, святой...

В раскрытую кухонную дверь он увидел на подоконнике буханки хлеба, одна на другой, удлиненные, целые. Он давно-давно забыл, как выглядит целый хлеб. В лагере ведь приходится видеть только пайки хлеба.

— О, святой! Посмотри на меня... — просила женщина.

Все происходило как во сне. Голос доходил до него, как сквозь толщу воды. Он не испугался, не отпрянул. Нет, это был какой-то иной, необычный страх. Будто тело Гарри обвил змей, но вместо жал на него устремились две ее оголенные груди.

171

Эсэсовец Зигфрид появился в дверях кухни. Он закрыл собой все буханки хлеба на подоконнике. Гарри не ощущал страха. Он просто оцепенел. Он пытался удивиться, почему он не ощущает никакого страха? Это было такое приятное чувство. Будто он перешагнул за какую-то черту.

Зигфрид стоит без своего черного мундира, уперши кулаки в бедра. Странно, в натальной белой рубашке Зигфрид более страшен, чем в черном эсэсовском мундире. Немка стоит перед ним на коленях. Они говорят о нем.

— Возьми его с собой туда... — умоляет немка пьяным голосом. — Я все для тебя сделаю, Зигфрид...

На пряжке Зигфрида парит орел с распростертыми над свастикой крыльями. Точно, как на печати гестапо, приложенной к «особому удостоверению» мастерских Швехера. Пойдем, санитар!

Зигфрид тянет Гарри за собой. Немка подталкивает его сзади, пьяно скуля.

Она гладит его: «О, святой!..» Рыдает — пьяная, почти голая.

Воздух вокруг него застыл, он как бы вмерз в него. Кухарка, старая «фольксдойче», стоит лицом к плите, рукава закатаны по локти. От котлов валит пар. Сегодня, наверно, будут давать вареный картофель в мундире. Зигфрид тянет его. Гитлер смотрит со стены кухни выпуклыми, вытарашенными глазами: что тут, в немецкой кухне, делает еврей? Уничтожить! Уничтожить! Уничтожить!.. «О, святой!..» — плачет пьяная немка и открывает вторую дверь кухни. Кухарка продолжает стоять лицом к парящим котлам: она даже не поднимает глаз, будто на кухне ничего не происходит. Кто-то повелевает ему двигаться, кто-то тянет его за рукав; голоса, кругом голоса.

Вот тут живут немцы... Эта дорога ведет в их жилища. Коридор. Лестничная клетка, чистая, прохладная.

Он давно забыл, что в мире есть дома с каменными ступенями, ручки дверей и что за дверями людям можно уединяться, закрываться и даже быть свободными. Это он уже давно забыл, хотя в том мире, где он до того жил, он под-

172

нимался и сходил по таким же ступеням, входил и выходил через двери. Не вводили его, не тянули. Там на каждой двери была табличка. На двери его квартиры тоже была прикреплена медная табличка с его именем. Да, у него было свое имя. Только ему принадлежащее имя. Фамилия, имя. Каждый живущий тогда имел свое имя.

Он стоял около двери, как на пороге кошмарного сна. Немецкие жилища! Он находится внутри... Он чувствует, как в его мозгу все перемешивается и спутывается в клубок. Вот до него докатывается шум пьяной оргии. Он видит их раскрытые пасти. Немцы вокруг него. Он тонет в них, он идет ко дну. Он уже не может найти себя. Где он?

В застывшем желтом мареве вокруг него ему напоминает о себе лишь белизна его врачебного халата. В лагере Сакрау немцы поймали «еврейского старшину» и привели его к себе. Когда вечером лагерники вернулись из «бауштеле», они нашли его в одном из бараков мертвого, раздетого, с выжженными синими знаками на теле. Что же он тут делает?.. Как он попал сюда?..

Никто не смотрит в его сторону. Немка продолжает стоять перед ним на коленях. Ее всхлипывания не слышны из-за визгливых выкриков. Все тонет в желтом густом свете. Бутылки — пустые, наполовину опорожненные, перевернутые, валяются на полу среди полураздетых пьяных мужчин и женщин. Никто на него не смотрит. Они пьют прямо из горлышек.

«Кот» держит на своих коленях женщину. Он плачет и причитает. Его беззубый рот раскрыт и темен, как пещера. Глаза сощурены. Концы его черных усов, распущенные с обоих концов, еще больше подчеркивают пустоту и сумрачность провала рта. Пальцами он мнет и лапает голое тело женщины, подбадривая себя протяжным, тихим, странным воем.

Сегодня «Кот» не работает в «бауштеле». Сегодня его книжечка отдыхает. Скамья на кухне стоит без дела. Почему скамья побоев находится в кухне? «Кот» хочет вонзить свои зубы в тело женщины, но он лишен зубов. Он поднимает

173

голову, зажмуривает глаза и рычит со страшными причитаниями в пустоту плотного желтого воздуха.

Что он тут делает, в помещении для немцев? Как он сюда попал? Никто этому не удивляется. Будто это нормально и совершенно понятно. Что сейчас сделает Зигфрид? Как Гарри сюда попал? Четыре ножки опрокинутого стола устремлены вверх и уставились в желтую пустоту. Бутылки и голые тела. Он ничего не может вспомнить. Что произойдет с ним тут? Немка наливает из полной бутылки. Она лежит перед ним на полу, пытается опять встать на колени и не может. Зигфрид вошел в комнату рядом.

Из угла вылезает голая женщина. Идет, приближаясь, как лунатик. Что это? Что это за надпись между грудями женщины? Буквы прыгают перед глазами. Он никак не может соединить их вместе. Цифры под ними прыгают и смешиваются с буквами. Немка пытается обвить руками его ноги, издает пьяные хриплые звуки. Ножки стола кружатся перед его глазами, как щупальцы свастики на красной ленте. Голубые глаза женщины вонзаются в его мозг. Каким образом сюда попали эти глаза? Откуда они внезапно тут выплыли? Что тут делают голубые глаза Даниэлы?.. «Красивейшая пара на свете: па и ма...» Голос Даниш... Глаза кричат... Ее рот раскрыт... Ведь это голос Даниэлы... Он слышит... Он явственно слышит:

— Гарри!!! Гарри!!!

Гарри лежал на дворе около ступенек, открыв глаза, он увидел около своей головы пару черных сапог начальника лагеря. Накатила тишина, будто тысячи моторов внезапно перестали стучать в его ушах. Лицо начальника лагеря было озабочено: ликвидировать его?.. Распотать его сапогами и конец? Или оставить его в живых и пусть дальше пребывает у него «врачом»?..

Лежа на полу около ступеней, Гарри ясно чувствовал, что жизнь его лежит тут же на полу, но уже отделенная от него. Вот-вот растопчут его черные сапоги. Он не мог шевельнуть ни одним пальцем. Не мог выдавить из себя шепот с просьбой о милости, ни крик гнева, ни крик боли, ни

174

рычанья мести. Гарри открыл глаза, посмотрел вверх. Он смотрел, как через тонкую вуаль — то все отчетливо видно, то все расплывается. Живет ли еще в нем жизнь или она уже растоптана?.. Он здесь или его уже нет? Глаза... голубые глаза, широко раскрытые, кричат: Гарри!.. И опять тишина... Безмолвие...

Гарри поднимает голову: глаза начальника лагеря...

Лицо сверху усмехнулось. Сапоги повернулись и шагнули к двери. Начальник открыл дверь, вошел, закрыл ее. Кругом тишина.

— Верните его туда, откуда вы его привели!.. — слышен голос начальника.

Зигфрид тащит его по ступенькам, но Гарри ничего не ощущает.

Кухарка — эта старая «фольксдойче» еще стоит у дымящихся котлов. Рукава закатаны до локтей, она мешает черпаком в котлах и не поворачивает головы.

Из котлов поднимается и вьется пар, а старая кухарка не поворачивает головы.

Куда его волокут? Гарри вдруг почувствовал острую боль в ребрах. Боль подымается до горла и спирает ему дыхание.

Зигфрид рассчитался с санитаром — кулаком в ребра и пинком в живот. Зло распалило Зигфрида. С каких это пор он, Зигфрид, должен таскать живого еврея?

Он швырнул Гарри на пол, плюнул и быстро ушел.

Кругом боль. Она смотрела ему прямо в глаза и подстерегала его, как дрессированные эсэсовцами немецкие овчарки. От малейшего движения на него набрасывалась боль и уходила глубоко в тело, становясь острее. Он лежал на земле, лицом вниз. Вокруг него пустота. Земля около самых глаз, жесткая и беспощадная. Он видел эту землю, но уйти в нее ему не дано. Она сомкнута под ним, как закрытая дверь чужого бункера перед евреем, оставшимся без укрытия во время акции в гетто

Нары стояли перед ним пустые, высокие. Когда лагерники вернутся с работы, они обнаружат его лежащим на

175

земле, как нашли еврейского старшину в лагере Сакрау. Он лежит голым или на нем белый врачебный халат? Голос Даниш кричит: «Гарри!!! Гарри!!!» Он, наверное, спятил с ума! Но он ведь видел и слышал! Откуда могла сюда попасть Даниш? Но он ведь наяву видел глаза Даниэлы! Он, видимо, рехнулся! Нет, ведь слышал же он в самом деле ее голос, ее крик: «Гарри!..» Ее зов до сих пор звенит в его ушах. Что же случилось с ним потом? Где он сейчас? Одно он четко помнит: машина остановилась около мертвецкой. Он ждал ее, чтобы попрощаться с Занвилем Люблинером. Он помнит и слышит еще тарахтенье мотора приближающейся машины. Нет! Это не сон! Потом он таскал мертвецов. Он взбирался в кузов машины...

Когда он выберется отсюда, ему надо будет в первую очередь зайти к семье Занвила Люблинера и сказать им, что их отец не сдох, как протухший мозельман. Для него клятва — свята! Чумовая зараза, чумовая зараза... Что же случилось с ним потом? Куда вез его автомобиль? Где он встретился с глазами Даниэлы?

Он вдруг ощутил страшную боль вокруг глаз. Со всего тела, с кожи, с корней волос струилась боль к глазам. Слезу... Пожалуйста, одну единственную слезу...

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Изо всех сил Феля стискивала плечи Даниэлы, прижимая ее к стене уборной. Феля чувствовала, что может справиться с ее телом, но душа Даниэлы ей не подвластна. Даниэла вырывалась из рук подруги, она хотела выйти в ночь, к смерти.

Напрасны слова, бесполезны уговоры. Приближается что-то страшное, непоправимое.

За мостом, над кронами деревьев, в небе плывет луна. Она выглядит шутовски — на макушке острый колпак, борода козлиная, старая, длинная. Рваные облака, как прозрачная белая вуаль, заслоняют ей дорогу, но луна рассекает их и бежит дальше, повисая над площадью экзекуций.

176

Справа, напротив барака «Ка-бэ», круглое озеро, распластанное на земле, как голова человека, а деревянный мост, как удушающая петля вокруг шеи. Глаза Даниэлы горели неестественным огнем, губы шептали:

— Гарри стоит в белом облаке...

Из закрытой половины барака «Ка-бэ» вблизи моста доносился странный шепот, тихое причитание, как плач сумасшедшего.

Глаза Даниэлы смотрят на озеро. Башенка часового на мосту погружена в тень и скрыта от взоров. Кругом — черное и красное вперемишку... Гарри стоит в белом халате, укутанный облаком... Он смотрит на нее... Он привязан к облаку... В центре озера, на границе черного с белым, на фоне черной ночи, белеют два белоснежных лебедя. Они глядят на нее, зовут ее...

Она боролась с Фелей у полуоткрытой двери уборной.

Тут скоро все с ума сойдут. Конец всем надеждам. Феля сама помогла ей пробраться в Нидервальден. Кто мог все заранее предвидеть? Судьба Ципоры Шафран уготована и для Даниэлы. Все тут спят с ума. Даниэле не миновать площади экзекуций. Так же, как Ципора Шафран, она будет здесь убита.

Феля разжала руки.

Теперь Даниэла перестала дрожать, не рвалась вперед. Она стояла выпрямившись, успокоенная, и упорно смотрела в лицо Фели, будто только-только увидела ее. Она протянула руки к Феле: в одной руке тетрадь, в другой — медальон.

— Передай это как-нибудь моему брату в Нидервальден... — попросила она.

Рассерженная Феля взяла из протянутых рук тетрадь и медальон, повернулась и побежала в уборную. Ей захотелось выбросить все это в яму. Сентиментальная просьба Даниэлы была ей непонятна и рассердила ее. Взгляд Даниэлы преследовал ее, не оставлял ни на минуту. Это был незнакомый ей, чужой, пронизывающий взгляд, перед которым невозможно устоять. Феля не решилась бросить дневник и медальон в яму уборной; она вернулась и кинула их подальше в угол барака.

177

Когда она снова подошла к двери уборной, Даниэлы там уже не было.

Тень ее в белой ночной рубаше приближалась к озеру и уже вошла в красный круг просторного шоссе.

Феля прислонилась к косяку двери. Ее глаза следили за удаляющейся тенью, словно желая остановить эту движущуюся тень, не дать ей идти дальше. Даниэла была теперь открыта всем вышкам часовых, раскинутых по длине шоссе. Достаточно малейшего окрика — не миновать тогда несчастья! Так или иначе, это неизбежно случится. Невозможно уже предотвратить беду. Нет больше выхода. Вот часовой приближается, еще секунда!..

Из темноты выползает черная фигура эсэсовского часового. словно клык в зеве ночи. Он направляет ружье медленно, осторожно. Он еще не верит своим глазам, он еще не верит в привалившее ему незначай счастье — три дня дополнительного отпуска плывут ему навстречу. Они уже лежат у него в кармане.

Белоснежная тень движется, приближается к подъему дороги, ведущей к воде. Тень не бежит. Не поворачивает голову. Идет спокойно, прямо. Оба лебедя застыли, как две молчаливые скульптуры.

Ночь откликнулась на звук выстрела диким смехом. Часовые на вышках встрепенулись, наострили уши. Часовой не смог сдержать смеха — пусть «камарады» слушают, пусть знают, что завтра, с восходом солнца, он получит три дополнительных дня отпуска. Вот лежит его «выигрыш».

На белеющем шоссе выделяется пятно. Ловким языком ночь лизнула пролитую кровь. Пара лебедей пробудилась ото сна. Они поплыли быстро, с распушенными крыльями, удаляясь от берега.

Феля стояла, пригвожденная к стене уборной.

Из ближайшего барака «Ка-бэ» продолжала доноситься возня, похожая на ужасное воркованье голубей. Зараженные девушки плакали в тиши, ожидая машины, которая на рассвете заберет их отсюда.

А завтра часовой поедет домой, к своей семье. Может

178

быть, к матери, может, к сестре, а может, и к дочери, маленькой девочке, единственной, по которой он так скучает, стоя на дежурстве на мосту. Три дня отпуска!

Феля не могла устоять на месте.

В углу барака валялись тетрадь и медальон. Она нагнулась и подняла их. Ей показалось, что она держит в своих руках душу Даниэлы. «Передай это моему брату в Нидервальден...» Она запахнула тетрадь под лагерный передник, спрятала ее на груди.

В небе, за рваными тучами, луна продолжала свой путь, освещая тело, белеющее на дороге. Странные, неведомые до сих пор чувства бродили в Феле. Она раскрыла медальон. С фотографии смотрели на нее глаза Даниэлы, одетой в школьную форму, с белоснежным матросским воротником; две толстые косы с заплетенными в них белыми лентами сбегали с обеих сторон на грудь; взгляд спокойный, чистый. Около нее у маленького узкого столика сидел Мони. Ребенок смотрел на Фелю широко раскрытыми глазами и спрашивал: «Почему теперь Даниш валяется на дороге?..»

Феля прижала фотографию к губам.

Горе качало ее.

Она пошла вперед, за пределы барака. Пусть стреляют и в нее, если им так хочется! На сердце было пусто, в нем не было даже привычного страха. Теперь она может смотреть прямо в глаза эсэсовцам и равнодушно бросить им три дня дополнительного отпуска — последняя стоимость ее жизни. Пусть они возьмут ее последнюю подачку, как презренные нищие.

Даниэла лежала лицом вниз, на дороге, одна рука была вытянута вперед. «Передай это моему брату в Нидервальден...» Внезапно Феля поняла, может быть, впервые в жизни, что есть в мире ценности, за которые она готова отдать свою жизнь. Она прижала тетрадь, спрятанную на ее груди под передником, и притаилась в углу уборной, чтобы ее ник-

179

то не обнаружил здесь в этот час, и ждала первого удара гонга...

День шагнул в лагерь. Пройдя по дороге, он наткнулся на расстрелянное тело. День на секунду оглянулся и продолжал свой путь...

180